

ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ

**«ЗДЕСЬ
БЫЛО
НТВ»»**

и другие истории

ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ «Здесь было НТВ»

**ВИКТОР
ШЕНДЕРОВИЧ**



ЗАХАРОВ

**ВИКТОР
ШЕНДЕРОВИЧ**

**«Здесь было
НТВ»**

и другие истории

ЗАХАРОВ • МОСКВА • 2002

УДК 882-94

ТБК 104

Ш 47

ISBN 5-8159-0274-8

© Виктор Шендерович, автор, 2002

© Игорь Захаров, издатель, 2002

**«Здесь было
НТВ»**

Еду на работу, опаздываю, ловлю машину:

— Останкино!

— Сколько?

— А сколько надо? — интересуюсь.

— Ну, вообще тут полтинник, — говорит водитель, — но вам... — Улыбка. Я понимаю, что поеду на халяву. — Давайте — восемьдесят? Вы же «звезда».

Программа «Итого», сделавшая меня «звездой» с правом проезда за восемьдесят вместо пятидесяти, начиналась с идеи вылезти из-за кукольных спин и заговорить своим голосом. Запросилось наружу мое театральное прошлое, а кроме того — давно хотелось приблизить комментарий к злобе дня.

В «Куклах», с их сложной технологией, сдавать очередной сценарий приходилось во вторник, в эфир же программа шла только в воскресенье. А за пять дней в России может произойти черт знает что, вплоть до полной перемены власти.

Несколько раз «Куклы» попадали в эту пятидневную ловушку, и с довольно печальными результатами. Текст, актуальный во вторник, к выходным оказывался абракадаброй, не имеющей отношения к реальности.

И на ухах по этому поводу мы стояли регулярно.

Самый выразительный случай такого рода произошел в дни правительственного кризиса в сентябре 1998-го. Депутаты дважды забодали кандидатуру Черномырдина — и все шло к тому, что Борис Николае-

вич насупится, упрется и выдвинет ЧВСа в третий раз. В расчете на этот вариант развития событий сценаристом Белюшиной были написаны очередные «Куклы».

Но жизнь пошла враскосяк со сценарием. В среду, когда программа был написана, озвучена, и уже полным ходом шли съемки, мне позвонил гендиректор НТВ Олег Добродеев.

— Витя, — сказал он негромко. — Дед хочет Лужкова.

— О господи, — сказал я. — Точно? — спросил я чуть погодя.

Олег Борисович несколько секунд помолчал, давая мне возможность самому осознать идиотизм своего вопроса. Что может быть точного в России, в конце XX века, под руководством Деда?

— Пиши Лужкова, — напутствовал меня гендиректор и дал отбой.

Я позвонил Белюшиной — она ахнула — и мы приступили к операции. Скальпель, зажим... Диалог, реприза... Через пару часов ЧВС был вырезан из сценарного тела, а на его место вживлен Лужков. Когда я накладывал швы, позвонил Добродеев.

— Витя, — негромко сказал он. — Только одно слово.

У меня оборвалось сердце.

— Да, — сказал я.

— Маслюков, — сказал Олег Борисович.

— Это п...ц, — сказал я, имея в виду не только судьбу программы.

— П...ц, — подтвердил гендиректор НТВ.

— А это точно? — опять спросил я. — Кто тебе сказал?

— Да я как раз тут... — уклончиво ответил Добродеев, и я понял, что Олег Борисович находится там. Мне даже показалось, что я услышал в трубке голос Деда.

Галлюцинация, понимаешь.

Я позвонил Белюшиной, послушал, как умеет материться она — и мы приступили к новой имплантации. Лужков с ЧВСом были вырезаны с мясом. Окровавленные куски текста летели из-под моих рук. Время от времени в операционную звонил Добродеев с прямым репортажем о ситуации в Поднебесной.

— Лужков, — говорил он. — Лужков, точно. Или Маслюков. В крайнем случае, Черномырдин.

К вечеру среды были написаны все три варианта.

В четверг утром Ельцин выдвинул Примакова.

Сценарист Белюшина уже не материлась, но и переписывать сценарий больше не могла. Ее нежная психическая структура оказалась неприспособленной к грубым реалиям Родины. Примакова в располованный сценарий я вшивал самостоятельно — и до пятницы (дня голосования в Думе) молился за Евгения Максимовича всеми доступными мне способами.

Не то чтобы я мечтал о его премьерстве — просто очень хотелось передохнуть.

Сильно передохнуть не получилось: телевидение втянуло меня с потрохами. Не могу сказать, что это был мой личный выбор. Как по другому поводу сказано у Довлатова: это не любовь, это судьба.

Первая программа «Итого» вышла в эфир 19 апреля 97-го года, и это изменило мою жизнь довольно кардинально. Через какое-то время со мною начали здороваться прохожие. Некоторые кивали совершенно автоматически, как шапочному знакомому. Интеллигентные сограждане улыбались одними глазами. Сограждане попроще брали за рукав и начинали общаться, преимущественно на «ты». Совсем простые требовали, чтобы я с ними немедленно выпил — и обсудил жизнь. Мысль о том, что мы незнакомы, не приходила им в голову, и в каком-то смысле они были правы.

Не буду кокетничать: это неудобство — вполне сильная плата за приязнь своего народа.

Пришлось привыкать и ко встречам с собственным именем в самых неожиданных контекстах. Пона-

чалу я обижался и даже звонил в редакции, но потом плюнул — и виртуальный «Шендерович», окончательно отделившись от меня, зажил своей собственной жизнью. Он эмигрировал в Америку и разводился с женой, владел престижным московским клубом, говорил какие-то немыслимые пошлости в интервью, которых я не давал, а однажды был госпитализирован с сердечным приступом. Добрые люди сообщили об этом по телефону моей маме — по счастью, как раз в тот момент, когда у мамы был я сам.

Наконец, в одно прекрасное утро, заглянув в интернет, я обнаружил там висящий на пол-экрана анонс: «Шендерович обвиняется в убийстве испанки». Покрывшись холодным потом, я щелкнул «мышью» — и через несколько секунд выяснил, что речь идет об испанском хирурге Херардо Шендеровиче, зарезавшем пациентку. Ну и однофамильцы у меня...

Как в анекдоте про Пушкина и Муму: женщину зарезал Херардо — а к следователю позвали... В общем, я в очередной раз дописался. В одно прекрасное апрельское утро 99-го года мне позвонили из московской прокуратуры и попросили зайти.

Эту хохму я уже знал. Из-за «Кукол» меня допрашивали еще в девяносто пятом, и признаться, я думал, что уже хватит. Но, как выяснилось, история действительно движется по спирали.

На сей раз в дальнюю дорогу меня позвал депутат Государственной Думы коммунист Никифоренко. Этот государственный муж обратился к Генпрокурору Скуратову с просьбой «рассмотреть коллективное письмо из г.Оренбурга о телепередачах г-на Шендеровича, который частенько любит подменять сатиру хамскими высокомерными оценками известных политиков страны, *избегая оскорблений в адрес Президента*» (курсив мой — В.Ш.).

Коммунист Никифоренко знал, кому жаловаться — прокурору Скуратову, после показа по РТР его досу-

гов с проститутками, только и оставалось, что стать борцом с антинародным режимом. Но это — подробности, а спираль исторического развития состояла в том, что весной 99-го отсутствие оскорблений в адрес Президента России уже являлось обстоятельством, отягчающим вину.

И опять — мою.

Тут следует вспомнить, что следующим хозяином Кремля в то время, по всем раскладам, выходил Примаков. Евгений Максимович еще не был близко знаком с творчеством Сергея Доренко и думал, что рейтинг — это то, что растет. Коммунисты и особисты по такому случаю смелели день ото дня. В похожей ситуации Хлестаков замечал чиновнику Землянике: помнится, вчера вы были меньше ростом... В сентябре 1991-го эти господа были счастливы уж тем, что их не поднимают за шею вслед за их железным Феликсом, но к концу десятилетия помаленьку начали снова входить во вкус, восстанавливая навыки руководства страной.

Навыки восстанавливались быстро. Мерзости делались теперь не от шальной коржаковской удали, а как положено — по многочисленным просьбам трудящихся. Тут самое время перейти собственно к коллективному письму из Оренбурга, которое сопровождал в прокуратуру бдительный слуга народа.

По части патриотизма это сочинение было исполнено на пять с плюсом, чего не скажешь о правописании. Оно и понятно: озабоченному патриотизмом не до подробностей родной грамматики.

«В одной из передач, — писали обиженные мною и Богом граждане, — одна из кукол изображала женщину с русой косой, в русской национальной одежде, с голубыми глазами (т.е. русская) где на вопрос «Что делать?», присловутый «Мозговед» Шендеровича предписал русским «трудотерапию»...

Продравшись сквозь патриотический синтаксис, я сел писать покаянное объяснение, первую фразу которого мне продиктовал добрый следователь.

«...По существу заданных мне вопросов могу показать следующее. Я действительно являюсь постоянным автором сценариев программы «Куклы». Однако ни в одном из выпусков этой программы не было куклы с русой косой, в русской национальной одежде, с голубыми глазами, как утверждается в письме из Оренбурга.

Нечто похожее было в программе «Итого». А именно: в выпуске за 26 декабря 1998 г. психиатр Андрей Бильжо, говоря о пациентке Р. с аналогичными признаками (коса, одежда, цвет глаз), действительно написал ей «трудотерапию».

В ответ на запрос депутата Ю.Никифорова поясняю, что под пациенткой Р. авторы программы имели в виду Россию. Поясняю также, что это не оскорбление, а метафора.

В ее основе лежит глубокое убеждение авторов программы «Итого», что русский народ в целом — народ мечтательный, стоящий в стороне от европейской цивилизации и не склонный к труду. Каковое мнение с авторами программы разделяют, в числе многих других, философ П.Чаадаев, историк В.Ключевский, а также писатель А.Пушкин, бывавший, в частности, и в Оренбурге.

Косвенно его вывод о том, что «мы ленивы и не любопытны», подтверждает такой интересный факт: авторы письма (46 человек) не потрудились даже точно вспомнить, в какой из программ В.Шендеровича — «Итого» или «Куклы»? — они видели возмущивший их фрагмент...»

Был в оренбургской кляузе и второй пункт обвинения — насчет кукольного персонажа, похожего на Зюганова и одетого при этом в нацистскую форму.

Тут им не померещилось.

Я пояснил проверяющему прокурору, что резиновый Зюган в форме члена НСДАП в программе «Их борьба» — это тоже метафора, основанная на глубо-

ком идеологическом сходстве лидеров КПРФ с лидерами германского национал-социализма. Я указал на текстуальные совпадения высказываний гг. Зюганова и Гитлера — чем, кажется, удивил проверяющего прокурора довольно сильно. Настолько сильно, что больше из прокуратуры меня не тревожили.

Правда, и Зюганова туда почему-то не пригласили. А жаль. Очень хотелось бы прочесть его объяснения по данному поводу.

Что же до авторов коллективного письма из Оренбурга, то не могу утаить одну пикантную деталь: первым в списке сорока шести граждан, вступившихся за честь русского народа, стояло имя некоего Гусейнова, а координатором всей акции была гражданка Дусказиева Галина Задгиреевна.

Чудны дела твои, Господи!

За пару лет до того, как я начал объясняться с оренбуржскими национал-патриотами, из Питера, по хозяйственным нуждам, был переведен в администрацию Кремля Владимир Владимирович Путин. Когда я давал объяснения проверяющему прокурору, Владимир Владимирович уже работал директором ФСБ, но о его существовании по-прежнему знали только родные, близкие и товарищи по работе.

Меньше чем через год он стал президентом Российской Федерации.

Этот год войдет во все учебники политологии. Делай раз — делай два — делай три! Не знаю, прохиляет ли такой дешевый фокус еще где-нибудь, но в России, как выяснилось, он проходит на ура. Впрочем, я не политолог, а мемуарист. Будем же хранить чистоту жанра — и ограничимся воспоминаниями. Благо есть что вспомнить.

И хотя на сей раз обошлось без прокуратуры, но, как показали дальнейшие события, — возможно, именно этот эпизод стал началом большой уголовщины...

Бывают источники звука, а бывают — источники стука.

8 февраля 2000 года в газете «Санкт-петербургские ведомости» появилось Заявление членов инициативной группы Санкт-петербургского Государственного Университета.

Незадолго до того сия инициативная группа, наперегонки с другими инициативными, выдвинула Путина кандидатом в президенты России — и теперь демонстрировала бывшему питомцу свой энтузиазм. С грамотностью тут было получше, чем в оренбургском случае, но жанр тот же: донос.

Писавшие сигнализировали хозяину Кремля, что авторы двух последних выпусков «Кукол» пытались «ошельмовать его с особым озлоблением и остервенением, не считаясь с его честью и достоинством». Сообщалось, что наши действия «подлежат квалификации по ст.319 УК РФ».

Я забыл сказать: письмо писали юристы! По крайней мере, подписывали — насчет авторства есть некоторые сомнения (злые языки утверждают, что факс с текстом письма пришел из Москвы). Как бы то ни было, ректор Вербицкая, декан Кропачев и профессор Толстой свои имена под доносом поставили, напомнив стране прошлое название возглавляемого ими учебного заведения — Ленинградский Университет имени Жданова.

Та злосчастная кукольная стилизация называлась так же, как первоисточник — «Крошка Цахес». Новелла Гофмана о внезапной слепоте, заставившей жителей некоего города считать злобного карлика прекрасным юношей, зимой 2000 года смотрелась, действительно, довольно антигосударственно — и нервную кремлевскую реакцию можно понять.

По большому счету, с Владимиром Владимировичем случилось несчастье: человека вынули из рукава, положили поверх колоды и объявили джокером. Он, небось, еще полгода, просыпаясь возле ядерного че-

моданчика, щипал себя, проверяя, не снится ли ему всё это. В таком положении у любого обострятся комплексы...

А тут мы со своим Гофманом.

Впрочем, всё это психологические фантазии, а я (мы же договорились) мемуарист. Поэтому просто свидетельствую: вскоре после появления в печати письма-доноса Владимир Путин сделал одного из его авторов, ректора Вербицкую, своим доверенным лицом в президентской кампании. Видать, заслужила. (Сегодня г-жа Вербицкая вместе с г-жой Путиной уже борется за чистоту русского языка. Языка, конечно, жаль, но за женщин приятно.)

Вернемся, однако, в февраль 2000-го. Впридачу к обширным юридическим познаниям по части ст.319, «ждановская» профессура оказалась знатоком нравственности (без заботы о нравственности в России не делается ни одной мерзости). Профессура писала, что «Куклы» вызывают «чувство глубокого возмущения и негодования и могут служить красноречивым примером злоупотребления свободой слова, с чем в преддверии президентских выборов граждане РФ, как это ни прискорбно, все чаще сталкиваются».

Насчет злоупотреблений накануне выборов — это, надо признать, была сущая правда: соперников будущего президента РФ уже полгода напролет «мочили» по ОРТ в круглосуточном режиме. «Мочили» безо всякого Гофмана, с подкупающей простотой переходя на личности. Хорошим тоном в эти месяцы стали магазинное хамство (г-н Леонтьев) и демонстрация в эфире медицинских карт и интимных свидетельств (г-н Доренко). Скобки, впрочем, можно расставить и в обратном порядке.

Всё это питерские юристы вынесли с огромным мужеством и молча, и как раз на «Куклах» не выдержали: прорезалось гражданское негодование насчет злоупотребления свободой слова.

Вообще, судя по реакции власти на ту гофманиану, мы попали со своей метафорой сильнее, чем сами

предполагали. «Попали» — в обоих нынешних смыслах слова. Я-то искренне полагал, что переписываю притчу, а нанес, кажется, обиду физиологического свойства. Говорят (по крайней мере, мне так передавали), что *там* (взгляд наверх) особенно обиделись на то, что герой программы оказался существом весьма небольшого роста.

Я в очередной раз был поражен уровнем полемики.

Да разве в росте дело? Что за детский сад? Обидься по сути! Опровергни метафору! Докажи, что ты не карлик в политике, не продукт пиара! Да и не мне шутить насчет роста — ростом я не выше президента.

Между прочим, жену тоже зовут Людмила Александровна. И ничего, живу.

А насчет продукта пиара — самую смешную шутку по этому поводу, как всегда, пошутила жизнь.

Был у нас в программе «Итого» такой персонаж — Виктор Семенович Ельцов... Кстати, он на самом деле — Виктор Семенович Ельцов, по паспорту. Обнаружен нами в картотеке «Мосфильма». Выразительное имя плюс типаж главы партхозактива решили его судьбу, и Виктор Семенович временно стал главой администрации выдуманного нами города Федотово и основателем движения «Держава-мать». Лазил в шахты, ездил к ткачихам, говорил патриотические пошлости... Короче, делал все, что делают *они*, и делал вполне убедительно. Однажды мы снимали его в Совете Федерации — он громко молол какую-то написанную мною чепуху... Так на него там даже внимания никто не обратил — настолько лег в масть наш Виктор Семенович!

Надо заметить, что актер так вжился в роль, что по окончании карьеры в программе «Итого» изготовил визитную карточку, на которой был изображен флаг России и, без лишних подробностей, красовались фамилия, имя и отчество. Его до сих пор узнают

на улицах. Некоторые справляются о политических перспективах.

...Так вот, в феврале 1999 года мы снимали приезд Виктора Семеновича на ферму. Это была пародия на типовой выезд областного руководителя в народ: Ельцов вышел из машины, дежурный холуй накинул ему на плечи белый халат — и «федотовский глава» пошел в коровник. По дороге с деловым видом пощупал комбикорм. При встрече с народом пообещал поддерживать отечественного производителя. Всё по сценарию.

Сюжет вышел в эфир — и мы о нем забыли. Ровно на год.

А через год, в феврале 2000-го, на другую ферму приехал будущий президент России. Он вышел из машины, кто-то набросил ему на плечи белый халат — и Путин в окружении местного начальства двинулся навстречу селянам...

Мы смотрели это в новостях, сидя в Останкине.

— О, — сказала Лена Карцева, режиссер «Итого». — Смотрите. Прямо как наш Ельцов.

Тут будущий президент Путин свернул с дороги, подошел к тележке с комбикормом и начал с задумчивым видом мацать эту дрянь руками. Мы рухнули на пол со стульев. Когда будущий президент России заговорил о поддержке отечественного производителя, мы, икая от смеха, уже рылись в кассетах.

Параллельная склейка дала обратный эффект: стало уже не до смеха.

Смешно, когда пародия похожа на оригинал. Но каким надо быть оригиналом, чтобы дословно соответствовать пародии, сделанной за год до этого?

Когда в феврале 97-го мне представили будущего режиссера «Итого» Елену Карцеву, я, признаться, немного скис — жизненный опыт заставлял меня скептически относиться к профессиональным способностям интересных блондинок. Лена оказалась исключе-

нием. Впрочем, в политике, за пять лет работы со мной, Карцева лучше разбираться не стала. Разбирается она в ней по-прежнему — совершенно по-женски. Посмотрит, бывало, на какого-нибудь судьбоносного дядьку в мониторе, спросит: это кто? Только начнешь объяснять, а Лена сморщит носик и голосом Аси Бякиной скажет: ну да, я же вижу, такая гадость.

А к красоте рядом с собой, в рабочее время, я не то чтобы привык, но — смирился. Впрочем, всему есть пределы, и редактору Морозовой, например, было категорически запрещено приходить на работу в короткой юбке.

Я не талиб, но и не слепой же. А мне программу писать надо.

Натерпелся я и от профессионализма редактора Морозовой: с ударениями у меня не сложилось с детства, и падежи употребляю по интуиции, а редактор Морозова в засаде посидит, дождется, пока я свой уровень культуры обнаружу, да прилюдно и опозорит. Зато потом улыбнется так, что всё простишь.

А главный среди моих бойцов невидимого фронта — Сергей Феоктистов. Похожий на большого, умного и ученого кота, он — шеф-редактор программы. Сия должность означает безотлучную жизнь в информационном потоке, но это как раз могут многие. А Феоктистов умеет вот что: взять два несмешных по отдельности факта — и соединить их, как щелочь с водой. Чтобы зашипело и дало бурную смеховую реакцию.

Сергей был соавтором моих текстов, зачастую — их автором в большей степени, чем я сам. Он создавал голевые моменты — мне оставалось только подставить голову...

По образованию Феоктистов — синолог, то бишь специалист по Китаю, где и проработал пять лет корреспондентом «Маяка». Из тех краев Феоктистов вывез собаку по имени Пыр-Пыр и философское отношение к жизни. Наконец, он знает китайскую грамо-

ту! Это всякий раз наполняет мое сердце священным трепетом: до встречи с Феокистовым я был убежден, что китайцы нас разыгрывают, и прочесть это в принципе невозможно. А наш ученый шеф читал в подлиннике Конфуция, хотя для общения с нами, убогими, ограничивается цитатником Мао — тоже в подлиннике, разумеется... За пять лет совместной работы один афоризм Великого Кормчего я выучил наизусть: ибу ибуди дадао муди. «Шаг за шагом дойдем до цели».

Чем, собственно, и занимаемся.

Рассказывать про «поэта-правдоруба» большого смысла не имеет — кто ж не знает старика Иртеньева? Игорь Моисеевич — живой классик, чьи строки с середины восьмидесятых уходят в народ безымянно, что есть высшая форма признания.

Не с первого раза удалось мне подсадить моего старшего друга на телевизионную иглу: поначалу от политической поденщины Иртеньев отказывался. Гордый питомец муз, он не то чтобы брезговал заказом — но полагал, что не сможет писать «на скорость», сохраняя уровень, к которому уже успел приучить своих читателей.

А условия иртеньевской работы были, действительно, довольно жесткими: в среду получи тему, а к утру в четверг — вынь да положь стихотворение. Что Игорь и делал четыре года напролет. Перед тем как по телефону, мрачным голосом, прочесть мне «программный продукт», Иртеньев обычно предупреждал, что стих получился смешной, и чаще всего, не ошибался.

Если у иртеньевской музыки был выходной, он справлялся без нее — выходили стихи элегантные, математически точные; демонстрация профессии. Но когда муза посещала поэта... а по средам она делала это регулярно... Тогда, потревоженный по какому-либо невзрачному поводу вроде принятия бюджета, иртеньевский талант поднимался во весь свой немаленький

рост. Легко оттолкнувшись от повода, стих взлетал к головокружительным обобщениям и оттуда обрушивался финальной репризой. Пальчики оближешь.

Многое из написанного для «Итого» Иртеньев, человек строгий, впоследствии включил в свои сборники. Наличие в природе этих стихов я считаю своим вкладом в русскую поэзию. Хотел написать: скромным вкладом, но к черту скромность — стихи-то отменные!

Примерно через год после старта программы Иртеньев привел в эфир своего друга Андрея Бильжо. Блестящий карикатурист дебютировал у нас в качестве «мозговеда».

Впрочем, Бильжо — психиатр самый натуральный, с дипломом, и по Москве в некотором количестве еще ходят граждане, починенные Андреем Георгиевичем в его маленькой психиатрической больнице. Соответственно, и диагнозы политикам он ставил нешуточные. То есть — настоящие.

Нехитрое дело назвать Думу «дурдомом», но для Бильжо это не было метафорой: политическую элиту страны он ощущал как свою клиентуру. А когда «врач-мозговед» выходил на уровень обобщений, как в случае с «пациенткой Р.», случался успех такой силы, что меня начинали вызывать в правоохранительные органы (см. выше).

Многие до сих пор спрашивают: что это он вертел в пальцах? Отвечаю: это ключик-гранка, какими запирают снаружи буйные психиатрические палаты. К сожалению, изолировать от россиян обитателей верхней и нижней палаты Андрей Бильжо не сумел.

Но всех нас предупредил.

Смею думать, что в «Итого», за пять лет еженедельного эфира, случилось некоторое количество удачных шуток. Но это, конечно, гарнир. А собственно блюдом были *они*, наши всенародно избранные всех

рангов. Перешутить их было невозможно. Что они говорили, как себя вели! Какой Салтыков-Щедрин? Какой Свифт? Только не выключай камеру, только запасись пленкой — и фиксируй.

В этом хоре были солисты, а были и звезды первой величины. Черномырдин, например — предмет моей острой ревности. Я относился к нему, как Сальери к Моцарту, потому что сам беру трудом, а он — талантом. Ужас! — ночей не спишь, пальцы стертые о клавиши по локоть, восемь редакций одной шутки... — а этот просто открывает рот и говорит... Ельцин доводил нас иногда до икоты; некоторые его синхроны (так на телевизионном сленге называется прямая речь в эфире) мы в процессе подготовки программы пересматривали много раз — и каждый раз уползали от монитора на карачках. Вести программу в прямом эфире я бы, клянусь, не смог — «плыл» бы от смеха постоянно.

Но главное — пятилетняя работа в «Итого» существенно поправила мое мировоззрение. Километры пленок, отсмотренные с подачи Татьяны и Сергея, не прошли даром. Время от времени на рабочем месте я узнавал о Родине что-то такое, отчего хотелось скорее плакать, чем смеяться.

И дело вовсе не в политиках, почти в полном составе расположившихся в диапазоне от клоунов до дебилов. Претензий к обитателям Кремля и других вместилищ власти у меня, с течением времени, становилось, как ни странно, всё меньше. И всё больше я понимал, что они — это мы. Например, жители Брянска выбрали себе депутата Шандыбина. Они, кого смогли, выбрали — он, как может, работает, и никаких претензий к ателье.

Удивительно другое: поставив на руководство своей жизнью этих василь-иванычей (а Шандыбин там еще не из худших), россияне с поразительным терпением продолжают надеяться на то, что в одно чудесное утро у них под окнами обнаружатся голландские

коровы и английский газон. И время от времени обижаятся, что этого еще нет.

Помнится (дело было вскоре после президентских выборов 1996 года), за соседним столиком в кафе тяжело напивались люди, будто вышедшие живьем из анекдота про новых русских: бычьи шеи, золотые цепи... И вот они меня опознали и призвали к ответу за всё, и велели сказать, когда закончится бардак и прекратится коррупция.

Тут меня одолело любопытство.

— Простите, — спросил я, — а вы за кого голосовали?

И выяснилось, что двое из пяти «быков» голосовали за Ельцина, двое за Жириновского, а один — вообще за Зюганова. И, проголосовав таким образом, они регулярно напиваются — в ожидании, когда прекратятся бардак и коррупция.

Народ — вот что было главным открытием программы «Итого», по крайней мере, для меня. Через две программы на третью информационный поток выплескивал на нас что-нибудь совершенно поразительное. Не забуду, как мать родную, ночные съемки из питерского пригорода Келломаги. У водилы уборочной машины кончилась в машине вода, а рабочее время — не кончилось, и он ездил по улицам родного города и гонял валиком пыль. Всю ночь. Я смотрел этот сюжет и думал... Нет, я ничего не думал, просто смотрел, как зачарованный.

Но это — частный случай идиотизма. А вот картинка из цикла «всё, что вы хотели знать о своем народе, но боялись спросить».

...Голландский фермер взял в аренду в Липецкой области шестьсот гектаров земли — и приехал на черноземные просторы, привезя с собою жену, компаньона, кучу техники и массу технологий. Он посадил картошку — и картошка выросла хоть куда. А на соседних совхозных плантациях (где, пока он работал,

расслаблялись великим отечественным способом) корнеплод уродился фигово.

Тут бы и мораль произнести — типа «ты все пела...»

Но в новых социально-исторических условиях басня дедушки Крылова про стрекозу и муравья не работала. Потому что, прослышав о голландском урожае, со всей области (и даже из соседних областей), к полям потянулись люди. Они обступили те шестьсот гектаров буквально по периметру — и начали картошку выкапывать.

Причем не ночью, воровато озираясь, с одиночным ведром наперевес... — граждане новой России брали чужое ясным днем; они приезжали на «жигулях» с прицепами, прибывали целыми семьями, с детьми... Педагогика на марше.

Приезд на место события местного телевидения только увеличил энтузиазм собравшихся. Люди начали давать интервью. Общее ощущение было вполне лотерейным: повезло! Мягкими наводящими вопросами молодая корреспондентка попыталась привести сограждан к мысли, что они — воры, но у нее не получилось. Один местный стрекозел даже обиделся и, имея в виду голландского муравья, сказал: вон у него сколько выросло! — на нашей земле...

Этот сюжет, будь моя воля, я бы крутил по всем федеральным каналам ежедневно — до тех пор, пока какой-нибудь высокоточный прибор не зафиксирует, что телезрители начали краснеть от стыда.

А по ночам, когда дети спят, я крутил бы стране другой сюжет.

История его такова. Корреспондент НТВ в Чечне предложил некоему полковнику десантных войск воспользоваться своим спутниковым телефоном — и позвонить домой, под Благовещенск, маме: у мамы был день рождения. Заодно корреспондент решил этот разговор снять — подпустить лирики в репортаж.

В Чечне была глубокая ночь — под Благовещенском, разумеется, утро. Полковник сидел в вагончике

с мобильным телефоном в руке — и пытался объяснить кому-то на том конце страны, что надо позвать маму. Собеседник полковника находился в какой-то конторе, в которой — одной на округу — был телефон. Собеседник был безнадежно пьян и, хотя мама полковника находилась, по всей видимости, совсем недалеко, коммуникации не получалось.

Оператор НТВ продолжал снимать, хотя для выпуска новостей происходящее в вагончике уже явно не годилось — скорее, для программы «Вы — очевидец».

Фамилия полковника была, допустим, Тютюкин. (Это не потому, что я не уважаю полковников. Не уважал бы, сказал настоящую — поверьте, она была еще анекдотичнее).

— Это полковник Тютюкин из Чехии, б...! — кричал в трубку герой войны («чехами» наши военные называют чеченцев; наверное, в память об интернациональной помощи 1968 года). — Маму позови!

Человек на том конце страны, будучи с утра на рогах после вчерашнего, упорно не понимал, почему и какую маму он должен звать неизвестному полковнику из Чехии.

— Передай: звонил полковник Тютюкин! — в тоске кричал военный. — Запиши, б...! Нечем записать — запомни на х... Полковник Тютюкин из Чехии! Полковник... Да вы там что все, пьяные, б...? Уборочная, а вы пьяные с утра? Приеду, всех вые...

Обрисовав перспективы, ждущие неизвестное село под Благовещенском в связи с его возвращением, полковник Тютюкин из Чехии снова стал звать маму. Когда стало ясно, что человек на том конце провода маму не позовет, ничего не запишет и тем более не запомнит, полковник стал искать другого собеседника.

— Витю позови! — кричал он, перемежая имена страшным матом. — Нету, б...? Петю позови! Колю позови!

И, наконец, в последнем отчаянии:

— Трезвого позови! Кто не пил, позови!

Такого под Благовещенском не нашлось — и, бросив трубку, полковник обхватил голову руками и завыл, упав лицом на столик купе.

Разумеется, НТВ не дало это в эфир. Жалко было живого человека... Но если бы не эта жалость, я бы, ей-богу, крутил и крутил этот сюжет для непомнящей себя страны, на одном конце которой — пьяные влещку во время уборочной Витя, Петя и Коля; один телефон на село и одинокая мама полковника Тютюкина, не дождавшаяся звонка от сына в свой день рождения, а на другом конце — сам этот полковник, в тельняшке и тоже под градусом — пятый год мочит «чехов»...

Я узнавал свой народ — смеялся и плакал, и понимал, что вот он, ответ на вечный вопрос, задаваемый довольно часто и не мне одному; задаваемый иногда с удивлением, чаще — со злобой... «Что же ты отсюда не уезжаешь?»

Да как же отсюда уедешь? От полковника Тютюкина, от родимых обкомовских цицеронов, от безымянного шоферюги, гонящего пыль по улицам родного города? Это невозможно.

Мне будет их не хватать.

А может быть даже — кто знает? — им будет не хватать меня.

Мы делали наши программы, и, наверное, не без нашего участия противостояние НТВ и власти постепенно приняло характер клинча. Заклинило, надо признать, с обеих сторон — и ненависть крепко закупоривала сосуды. Евгений Алексеевич Киселев, например, однажды, прямо из телевизора, назвал наших оппонентов «насквозь прогнившей кликой циничных негодяев».

Не то чтобы я был не согласен с этой оценкой, но... как в аналогичном случае Сова сказала Винни-Пуху: «Я не посчиталась с расходом графита».

Впрочем, это — вопросы стиля, а столбовой сюжет был таков: мы, в меру таланта, рассказывали о жизни и политическом творчестве кремлевских обитателей, а власть в ответ на это начала насыщать на офис «Медиа-моста» детин неясного происхождения — в камуфляже и масках. И чем более интересные вещи мы рассказывали про Кремль и прокуратуру, тем более серьезные преступления обнаруживали правоохранительные органы в работе «Медиа-моста».

И наоборот.

Например: мы в подробностях информируем россиян о «деле Бородина» — Гусинского сажают в Бутырку как опасного преступника.

Гусинский подписывает тайный «шестой протокол» о своей готовности «сдать» НТВ в государственные руки — его выпускают из Бутырок, прекращают уголовное дело и отпускают за границу.

Гусинский отказывается выполнять договоренности, принятые под давлением, — уголовное дело возбуждают снова «по вновь открывшимся обстоятельствам». Как раз, видимо, через пару дней после его отказа они и открылись.

Впрочем, иногда нам давали шансы. В мае 2000-го на прямой контакт с одним из руководителей «Медиа-моста» вышел немаленький кремлевский чиновник — и при личной встрече передал листок с условиями, при выполнении которых, по словам одного чиновника, «наезд» на НТВ будет прекращен. Условий было несколько — изменение информационной политики по Чечне, прекращение атаки на т.н. «Семью»... — но первым пунктом числилось изъятие из «Кукол» Первого Лица.

Так и было написано.

Обожаю формальное усложнение задачи: это возвращает в кровь адреналин. Я уговорил Киселева рассказать в эфире об условиях, поставленных Кремлем, — и анонсировать, что в ближайшее воскресенье «Куклы» выйдут в эфир без резинового Путина.

Ибо старинная арабская мудрость гласит: когда Господь хочет наказать человека, он исполняет его желания...

Сюжет лежал на поверхности в готовом виде, и был даже не классикой, а — основой основ: Моисей, скрижали, десять заповедей... И, собственно, Господь Бог. Как полагается — невидимый.

Визуальное отсутствие главного героя было в этом случае не просто возможным — оно было каноническим. Никакой резиновой физиономии — только облако на горе и куст в пламени, в точном соответствии с первоисточником. В соответствии с тем же первоисточником персонажи не имели права называть главного героя по имени.

— А как же нам его называть? — оторопело интересовался в финале программы один из озадаченных скрижалю, на что Волошин-Моисей пояснял:

— Никак. Просто — Господь Бог. Сокращенно — ГБ...

Мы выполнили данное слово — Первого Лица в очередных «Куклах» не было, — но кремлевского благорасположения это нам почему-то не вернуло.

Через две недели после выхода в эфир «Десяти заповедей» был арестован Гусинский.

С Олигархом (одна из кодовых кличек Владимира Александровича) я знаком больше двадцати лет — в конце семидесятых мы одновременно учились в ГИТИСе. В те поры пути наши пересекались по поводам куда более занимательным, чем борьба за свободу слова: в студии Олега Табакова, где я радостно тратил свою молодость, было несколько исключительно интересных девушек, и студент режиссерского факультета Гусинский иногда захаживал к нам на курс.

Знакомство наше было настолько шапочным, что через два десятка лет я не сразу сопоставил лицо и фамилию медиа-магната с персоной студента Володи. Впрочем, это все лирика, и мое нынешнее отноше-

ние к фигуре Олигарха никакого отношения к ностальгии, поверьте, не имеет. Тем более что за последние годы я прочел и услышал о главе «Медиа-Моста» немало нового.

За ним, еще недавно обласканным властью, вдруг обнаружился целый вагон преступлений — от хищения государственных средств до политического шантажа и слежки за гражданами России. Выяснилось, что, получив от доверчивого государства лицензию на вещание, он — о, ужас! — использовал созданный телеканал в личных политических целях.

Все это фарисейство требует ответа.

...Под моим окном стоят два больших мусорных контейнера. Возле них всегда можно обнаружить нескольких российских граждан, ищущих, чего бы одеть или поесть. Это, как правило, абсолютно честные люди. И уж точно, не бизнесмены.

Всякий же, кто, отойдя от этого контейнера, вступил хоть в какие-то рыночные отношения в сегодняшней Российской Федерации — заведомо является преступником.

Как минимум, через него проходит «черный нал»; скорее всего, у него есть «крыша», осуществляющая, мягко говоря, контроль — или, прямо говоря, рэкет. У владельца ларька это какие-нибудь «люберецкие-тамбовские», у крупного комбината — местный губернатор... У федерального телеканала — Кремль. Только по понятным причинам контроль тут еще жестче, а рэкет берется «борзыми щенками», т.е. лояльной информационной политикой. Хотя, как свидетельствует история «голосования сердцем», долларами в Кремле тоже не гнушались.

Первородный грех этой «крыши» рождал удивительные по силе этические вопросы. Например: лицензию на вещание пробивал для НТВ Пал Палыч Бородин — значит ли это, что мы не должны говорить о коррупции в Кремле?

Когда НТВ отвечало на этот вопрос принципиально, нас обвиняли в неблагодарности. Когда пытались лавировать и смягчали интонацию — нас обвиняли в продажности. Некоторые до сих пор жутко воротят нос, работая при этом каждый под своей «крышей» — под Лужковым, под Волошиным, под Пугачевым, под Чубайсом...

Никакой федеральный телеканал в России не мог появиться без отмашки власти и существовать без информационных «откатов» тоже не мог. Обвинять в этом Гусинского, разумеется, можно и даже нужно — с тем же основанием, с каким наших футболистов, играющих вместо зеленого поля в луже, можно обвинять в том, что они грязные с ног до головы.

Гусинский играл по этим правилам, балансируя на компромиссах и срываясь в политические игры. Он был бизнесмен — и хотел зарабатывать деньги. В России для этого надо вертеться возле власти — то есть ежеминутно барахтаться в грязи.

Но есть в философии такое классическое понятие — пограничная ситуация. Минута, когда компромиссы переходят некую черту, и человек должен либо потерять свою сущность, либо остаться собой — и умереть. Такой пограничной ситуацией для НТВ стала чеченская война.

Не знаю, читал ли Гусинский Сартра (думаю, что как выпускник режиссерского отделения ГИТИС — должен был), но если и не читал, то все равно поступил как экзистенциальный герой. Интуитивно, что еще дороже.

Создателя «Медиа-моста» можно упрекать во многом. Он не ангел, и многие имеют вполне веские основания его не любить. Но он не поддержал чеченскую войну — ни первую, ни вторую. Единственный из тех, в чьих руках был российский эфир — не поддержал. Да и трудновато ему было бы это сделать: НТВ создавалось по другому и для другого.

Звездами канала стали люди, бежавшие от государственного вранья. Сорокина ушла из «Вестей» в

1997-м; Миткова еще зимой 91-го отказалась зачитывать в эфире сообщение ТАСС про вильнюсские события. Осокин по молодости лет вообще был «диссидой», и годы не исправили Михаила Глебовича — Бастер Китон российской информации, человек с непроницаемым лицом, в вечных джинсах с кроссовками под пиджаком и галстуком ведущего, он видал в гробу многих политруков — и еще многих увидит.

По штучному принципу становились «своими» те, кто помоложе: не потеряв обаяния, повзрослела Марианна Максимовская, на глазах вырос в серьезного журналиста Андрей Норкин — вдумчивый, органичный и совестливый. Умница Лиза Листова, ироничный Володя Чернышев, интеллектуал Костя Точилин, бесстрашная Лена Масюк, мудрый Ашот Насибов, жесткий и точный Володя Лусканов, блистательно рефлексирующий Паша Лобков, демонстративно бесстрастный в эфире и такой теплый в жизни Володя Кара-Мурза, на глазах вырастающий «из-под Парфенова» Леша Пивоваров; сам Парфенов, разумеется, — человек-стиль, словно рожденный для телевидения; Саша Зиненко, Илья Зимин, Вадим, Эрни, Алим... Кого забыл, простите!

Потом нас разбросало довольно сильно, но это ничего не меняет в моей оценке *того* НТВ, созданного не в последнюю очередь Гусинским. Его деньгами, но и его интеллектом и волей — прежде всего.

Бывший студент режиссерского факультета должен оценить драматургию, предложенную ему судьбой. Он создал лучшую в России телекомпанию, снимал и назначал министров, спасал Ельцина, сидел в Бутырках...

При Путине путь на Родину Гусинскому заказан — здесь его немедленно посадят снова. Но не из-за злоупотреблений или хищений — не будем лукавить. Воровать в России по-прежнему можно, и с большим комфортом: по-мелкому это делается в частном порядке, для захода в бюджетные закрома надо быть «го-

сударственником». Государственникам особо крупных размеров здесь разрешается даже развязывать войны.

А вот «уходить из-под крыши» не рекомендуется никому.

Последний, кажется, шанс вернуться «под крышу» у нас был в январе 2001-го. Все началось с вызова на допрос Татьяны Митковой — по поводу полученных ею (за семь лет до того!) кредитов на квартиру. Размер этого кредита власти сделали достоянием общест­венности еще накануне. Раньше подобная информация «сливалась» в прессу безымянно, но той зимой власти уже ничего не стеснялись, и о Таниных кредитах Центр общественных связей Генпрокуратуры сообщил официально (УК РФ, ст. 137, ч.2, если кому интересно: «нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное с использованием служебного положения»).

Мы решили, что это уже перебор, и наутро, оповестив собратьев-журналистов, собрались у «Медиа­моста», чтобы проводить Миткову на допрос в след­ственное управление, благо рядом — и сказать вслух кое-что из того, что думаем про всю эту мерзость.

Вот там-то Света Сорокина и выдала прямо в телекамеру: Владимир Владимирович, мы, конечно, не олигархи и не акционеры, но НТВ — это прежде всего именно мы. Может, найдете время, встретитесь с нами?

В тот же день Сорокиной позвонили из Кремля. Светы в кабинете не было, и редактор честно сказала звонившему, что ему придется немного подождать. Сорокину нашли и доставили к трубке, и вскоре мягкий голос нашего нового гаранта посетовал ей: зачем же, Светлана Иннокентьевна, обращаться ко мне через телевизор? Могли бы просто позвонить.

— Прошли ты времена, Владимир Владимирович, когда до вас можно было дозвониться, — ответила земляку прекрасная в своей прямоте Светлана Инно­кентьевна (за то и любим).

И они договорились, что в ближайшие понедельник представители творческого коллектива НТВ придут в Кремль — пообщаться...

29 января 2001 года, ближе к полудню, мы стояли у Василия Блаженного, дожидаясь часа встречи. Редкие в утренний час прохожие подходили, фотографировались с нами и уходили по своим делам, а мы оставались стоять, как фанерные манекены на Арбате.

И тут появилась Тетка.

Она подошла к нашим звездным девушкам (Света, Таня, Ира, Марианна) и, безошибочно выбрав Миткову, потребовала от нее денег на новую шубу, мотивируя требование тем, что старую ей только что испортили в ателье на проспекте Мира.

Сначала я подумал, что это обычная городская сумасшедшая, без социальных осложнений — и решил для досуга прилечь на эту амбразуру сам. Я отвел тетку в сторонку, выслушал еще пару раз историю про ателье, посочувствовал, а потом, пытаясь поставить ее горемычное сознание на логические рельсы, вкрадчиво поинтересовался: а почему, собственно, деньги на новую шубу ей должна давать Миткова?

Признаться, этим вопросом я рассчитывал поставить Тетку втупик. Как бы не так!

— А ничего, — сказала Тетка, — она богатая! Семьдесят тысяч от Гусинского получила.

И я понял, что Центр общественных связей прокуратуры не зря проедает наш хлеб.

Тетка кричала про эти семьдесят тысяч, изредка разбавляя прокурорскую бухгалтерию личными наблюдениями типа «небось не в шахте работаете!» Когда, окруженные фотографами и телеоператорами, мы пошли в Кремль, она двинулась с нами — двенадцатой. Я благодарен охране Кремля за то, что она не дала Тетке пообщаться с президентом России.

Ему и так непросто.

Нас провели в президентскую библиотеку, куда вместо Путина пришел его пресс-секретарь и попросил нас — подождать, а Сорокину — пройти к Владимиру Владимировичу для разговора тет-а-тет.

Милые у них там нравы.

Сорокаминутную паузу коротали, кто как мог. Одни травили анекдоты, другие осматривали библиотеку; я в притворной рассеянности спер на память пару карандашей из президентской карандашницы.

Парфенов придирчиво щупал книжные, сделанные «под старину» шкафы, обзывал все это «Хельгой» и прикидывал, сколько Пал Палыч Бородин мог наварить на одной этой библиотеке — имея в виду разницу между реальной стоимостью «новодела» и предполагаемой сметой.

Кстати, о кремлевской смете. Несколько лет назад один мой добрый приятель, журналист N., будучи во Флоренции, наткнулся на лавку, в которой делают оттиски больших гравюр с видами этого города. Шлепают их, как фантики, но — по старой технологии, на камнях, «под старину» опять-таки.

Склонный ко всему прекрасному, мой приятель купил несколько имевшихся в лавке пейзажей, по 35 долларов за штуку, а спустя какое-то время увидел такие же — в Кремле, на стенах одной залы, в роскошных рамах. Он спросил у местного краеведа, что это за гравюры, и выяснилось, что — эпоха Возрождения, шестнадцатый век, подлинник...

Карла дель Понте, мисюсь, где ты?

Но вернемся в президентскую библиотеку. Через сорок минут после нас там появился Путин. Парфенов, по привычке внимательно относиться к материальным свидетельствам времени, вслед за шкафами, успел ощупать при рукопожатии и президента, и через пару дней после встречи мне было авторитетно доложено, что костюмчик на Владимире Владимировиче был из хорошей тонкой шерсти, предположительно меринос.

Президент обошел нас по кругу, поздоровался с каждым; мы расселись.

Протокольная съемка завершилась, и Путин сообщил, что готов нас выслушать. Я набрался наглости — и заговорил первым. Не потому что считал себя главнее остальных пришедших в Кремль — скорее, наоборот. Товарищи мои — люди серьезные, а я со своим шутовским амплуа могу себе позволить чуть больше остальных. Вот, для начала, я и поинтересовался, готов ли Владимир Владимирович говорить с нами откровенно — или мы будем оставаться в рамках взаимного пиара?

— Какой пиар? — удивился Путин. — Я в этом ничего не понимаю...

Тут я впервые увидел, что глаза у нашего президента — голубые. Придя в себя после этого открытия, я от имени журналистов НТВ изложил нашу первую просьбу — отпустить заложника...

Антон Титов, финансовый директор «Медиа-моста», был арестован незадолго до нашего прихода в Кремль. Остальные фигуранты дела к тому времени благоразумно слиняли с Родины, а Антон продолжал ходить на допросы. На допросе он и был арестован. Видимо, за чрезмерную наивность его содержали в Бутырках и допрашивали по ночам — к испанским слушаниям по делу Гусинского прокуратуре срочно нужны были какие-то показания. Насколько мне известно, просили у Антона и показаний на Киселева... Антон их не дал, и вот — я пишу эти строки летом 2002-го, а он по-прежнему сидит в тюрьме, безо всякого приговора.

...Президент Путин выслушал меня и с сожалением заметил, что помочь нам в этом деле никак не может, потому что прокуратура в России — по Конституции — институт, оказывается, совершенно независимый.

Я-то не знал.

Разве я мог предлагать президенту России нарушить Конституцию? О, нет! Я только попросил его

позвонить Генпрокурору Устинову — и поинтересоваться: почему отца малолетнего ребенка — не убийцу и не насильника — держат в Бутырках на строгом режиме и неделю напролет пытаются ночными допросами? Я выразил уверенность, что после такого звонка независимая прокуратура, совершенно независимо, отпустит Титова под подписку о невыезде — примерно через полчаса.

Президент выслушал меня и спросил:

— Виктор Анатольевич, вы что же, хотите, чтобы мы вернулись к телефонному праву?

И серые глаза его снова сверкнули на меня невысказанной чистоты голубым цветом. В продолжение трехчасовой беседы невинность этих глаз смущала нас, многогрешных, не однажды — пока наконец не окрепло ощущение, что президент просто валяет с нами ваньку. А что еще оставалось думать? Скажем, на напоминание о своей как минимум моральной ответственности за действия назначенного им Генпрокурора, Путин среагировал мгновенно:

— Я Устинова не назначал.

Неполная дюжина журналистов НТВ, услышав такое, сильно удивились.

— Его назначил Совет Федерации, — пояснил президент. — А я им его только *представил*...

И развел руками. Ап!

Этот фокус (подмену сути дела его формальной стороной) президент за время беседы успел показать нам еще несколько раз. Особенно хорош был диалог насчет знаменитой прокурорской квартиры стоимостью почти полмиллиона долларов, квартиры, по прихоти судьбы доставшейся г-ну Устинову совершенно бесплатно.

— Разве имеет право прокурор получать подарки от подследственного? — задал я, надо признать, вполне риторический вопрос.

— Вы имеете в виду Бородина? — уточнил Путин. Я подтвердил его догадку.

— Ну что вы, — успокоил меня президент России. — Устинов не получал квартиру от Бородина!

Одиннадцать журналистов НТВ удивились еще сильнее.

— Он получил квартиру *от Управления делами президента!*

Больше мы ничему не удивлялись.

Владимир Владимирович умело и даже как-то весело валял ваньку, и только по одному поводу его постоянно пробивало на искренность: при слове «Гусинский» президентские глаза начинали светиться белым светом ненависти, и я, как Станиславский, шептал: верю!

Что-то между ними было...

Потом Президент вспоминал о своем статусе — и глаза его принимали прежний небесный цвет. Да и какое, действительно, дело президенту огромной державы до «спора хозяйствующих субъектов»? Ни-ка-ко-го! Вот только детали вопроса Владимир Владимирович почему-то знал назубок — суммы кредитов, даты судов, проценты акций... Мы — не знали, а он — знал. Время от времени Путин (видимо, в порядке аутотренинга) повторял тезис о независимости бизнеса и прокуратуры, не забывая при этом честно глядеть в глаза Светы Сорокиной, которая, идя к Путину, в президентских дверях столкнулась как раз с Генпрокурором.

Нам было неловко, а на президенте, в ясном свете зимнего дня, лившемся в просторные кремлевские окна, сверкала божья роса.

Как поступает человек, которому раз за разом лгут в лицо? В самом тихом случае — он просто встает и уходит. Наверное, так и надо было сделать, но никто не решился (всё-таки президент России!), и мы просидели три с половиной часа. Пару раз, кажется, я терял дистанцию и срывался. Я устал так, будто на мне все эти три часа возили воду; ребята сидели подавленные; на Светлане лица не было. А Президент

был бодр, корректен и обаятелен — и прощаясь, всех еще раз обошел и за руку попрощался.

Симпатичный человек.

В самом начале той встречи, едва только Путин сел напротив нас и начал говорить вступительные слова, Сорокина написала что-то карандашом в блокноте — и придвинула блокнот ко мне. «Всё бесполезно», — прочел я. Путь, который нам предстояло пройти за три с половиной часа, она прошла за тридцать пять минут приватной беседы с президентом России.

До встречи в Кремле мы еще питали какие-то иррациональные надежды — 29 января 2001 года поняли, что приговорены. Свет этих голубых глаз дал нам понять, что НТВ не жить.

Могли бы понять и раньше.

Ровно за год до нашей встречи с Путиным, в январе 2000-го, с НТВ ушел Олег Добродеев. Для нас это было громом среди ясного неба — но, как выяснилось впоследствии, его уход был итогом большой работы партии и правительства.

Впрочем, в случае с Добродеевым все не так просто. Фигура Олега Борисовича и его судьба стоят того, чтобы остановиться на них поподробнее.

Мы любили его. Думаю, что имею право так сказать от имени многих энтэвэшников первого и второго призыва. Олег Борисович был для нас больше, чем начальник: зайти к нему в кабинет, показать материал или текст, поделиться своими соображениями и услышать его мнение — было нормой и, замечу, удовольствием. Безусловный профессионал и обаятельный человек.

Я числил его своим другом.

Первый тревожный звонок был именно звонком, раздавшимся у меня дома после очередной программы «Итого». В программе прошел очень смешной сюжет про армию, его написали мои коллеги, Юра Исаков и Саша Каряев; их перу принадлежали и «Газеты

будущего», и все сюжеты из рубрики «Зоология», но тот удался особенно. До сих пор помню описание призывников, которые «кося влажным глазом, уходят от призыва на длинных плоскостопых ногах». Чудо!

Добродеев позвонил сразу после программы.

— Витя, — сказал он. — Ты знаешь, я никогда не вмешивался — но мы не имеем права так говорить о своей армии. Идет война...

Я много раз слышал подобное от генералов, считающих образцом гражданской позиции журналиста газету «Красная Звезда», но не думал, что придется объясняться по этому поводу со своими. Я был неприятно удивлен.

— Ты звонишь как начальство, — уточнил я, — или мы разговариваем?

— Разговариваем, — ответил Олег.

Тогда я сказал, что армия эта — не моя, и война не моя. Я спросил Олега, служил ли он. И, поскольку ответ на этот вопрос знал, вкратце рассказал Добродееву, что думаю об этом рабовладельческом институте.

— Нас тут шесть человек, — мягко прервал меня Добродеев. — Вполне референтная группа. И всем очень не понравилось.

Я ответил Олегу, что, видимо, у нас не совпадают референтные группы — и мы договорились обсудить проблему при встрече. Мы оба были расстроены, и не зря. При встрече выяснилось, что наши позиции разнятся не только по «чеченскому вопросу». Добродеев видел главную угрозу России в центробежных тенденциях — а мне всегда казалось, что главная угроза ей — распад нравов в Кремле и тамошняя имперская практика, благодаря которой центробежные тенденции, разумеется, нарастают. Я сказал это, и Добродеев поморщился.

Примерно в те же месяцы, говоря о балканском кризисе, он заметил, что Милошевич, конечно, негодяй, но Россия все равно должна быть на его стороне, иначе...

— Мы можем потерять Балканы, — сообщил Олег, и я впервые расслышал в его голосе геополитическую озабоченность. Но мы были друзьями, и я еще мог позволить себе снижение тона.

— Олег, — спросил я. — Тебе нужны Балканы?

Добродеев снижения тона не принял.

— Нет, нет, — сказал он. — Ты не понимаешь...

И вдруг я понял, что он разговаривает со мной, как с малым ребенком — одаренным, но не постигающим всей сложности мира. А он, давно допущенный к самым что ни на есть государственным верхам, эти материи понимал. И эту свою допущенность к верхам — ценил.

Ценил, пожалуй, больше, чем следует журналисту.

Историк, интеллигент, умница — Олег Борисович на глазах проникался геополитическими задачами и уходил в «государственники». И как по другому поводу говорится в голливудских фильмах: мы теряли его.

...«Россия — страна казенная», — заметил Антон Павлович Чехов. За век с лишним более частной страной Россия не стала, и «государственность» наша по-прежнему подразумевает некоторое презрение к отдельному человеку, который — невелика птица, потерпит.

«Государственник» же, напротив, стало звучать как звание, уважаемое и вполне доходное, вроде купца первой гильдии. Носителю звания сегодня полагается пачка индulgенций на совершение безобразий средней степени тяжести. Звание стало передаваться с молоком матери. Один молодой корреспондент НТВ, при первых звуках травли со всех ног рванувший в сторону РТР, так и сказал, оправдываясь перед будущими хозяевами за свою либеральную молодость: я, сказал, латентный государственник.

Недавно я видел его в Останкино. За пару лет на казенных харчах наш латентный раскормился так, что в лифт входил боком.

Уходя работать на ВГТРК, Олег публично пообещал подать в отставку в тот день, когда «Вести» соведут или не сообщат о чем-либо важном для страны. Видимо, он надеялся проскользнуть между Сциллой и Харибдой — остаться «государственником» и честным журналистом одновременно.

Но уж такое у нас государство, что надо выбирать что-то одно.

Поддержку родной ему армии и не менее родного главнокомандующего Олег Борисович начал осуществлять на РТР сразу и в полном объеме: кандидата в президенты Путина В.В. показывали на корабле, потом на самолете, потом в шахте, потом с ткачихами; на этом новости заканчивались. Если это журналистика, то я начальник Генштаба.

А в марте 2000-го года, ровно за пару дней до президентских выборов, в Москве случилась акция «Голубые сердца в поддержку Явлинского»: группа демонстративных и вполне опереточных геев призывала голосовать за лидера «Яблока»... Черным пиаром от этой акции разило за версту. Это была «заказуха» чистой воды, за которую Добродеев времен НТВ пинками погнал бы корреспондентов с эфирного этажа.

Сюжет про «Голубые сердца» появился в «Вестях» на канале РТР. Видимо, этого потребовали государственные интересы.

Олег обещал, что не будет уводить людей с НТВ, но уже через несколько дней после его ухода телефоны наших корреспондентов начали раскаляться от предложений встретиться и поговорить.

Первым свалил в «государственники» Евгений Ревенко. Свалил сам — и немедленно подключился к вербовке других. Идем мы как-то по останкинским коридорам с Лешей Кондулуковым. У Леши звонит мобильный, он на ходу смотрит определитель номера, подносит трубку к уху и вместо «здравствуйте» говорит: «Женя, иди на х...».

Надо знать интеллигента Лешу, чтобы понять мое изумление.

— Ревенко, — поясняет Кондулуков. — Уговаривает. Через несколько секунд телефон звонит снова.

— Женя, иди на х... — устало и дежурно говорит Леша. Ясно, что этот диалог продолжается у них не первый день. А Ревенко всё не идет.

И рад бы, да не может. Он — на службе...

Передо мной — две кассеты. Два репортажа, сделанные одним и тем же журналистом. Оба посвящены встречам Лукашенко и Путина. Между ними — всего полгода, но как изменился автор репортажей! Тонкое, нескрываемое ехидство (осень 1999-го, НТВ) — и граничащее с восторгом уважение к лидерам Союзного государства (весна 2000-го, РТР)...

И одно и то же лицо на экране — лицо Ревенко. Зрелище не для слабых.

Когда я буду стареньким профессором журфака МГУ, то начинать свой спецкурс буду так: попрошу тишины и — одну за другой, без комментариев, покажу первокурсникам эти две кассеты. А потом скажу: молодые люди, никогда не делайте так, это очень стыдно.

Самому Ревенко я уже ничего и никогда не скажу — по крайней мере, про стыд. Разве что процитирую Лешу Кондулукова.

Но если не Бог, то Фрейд шельму метит. Уже в ранге главного ведущего РТР допущенный однажды к Солженицыну, Ревенко собрался с мыслью и спросил у классика буквально следующее:

— Существует ли в России угроза *свободы слова*?

И Александр Исаевич честно ответил Жене:

— Нет.

Уходы с НТВ той поры — это был сильнейший психологический практикум. Большинство из них ни осуждать, ни обсуждать не могу — судьбы рвались в

те месяцы, как бумага. Но уход уходу рознь; над некоторыми из уходивших словно тяготело проклятие гефсиманского поцелуя. Сидим, например, ужинаем коллективно, обсуждаем дела наши скорбные — вдруг встает корреспондент Мамонтов и говорит: «Давайте выпьем за то, что мы одна команда. Мы должны держаться вместе...»

С пафосом эдак, неловко даже. Ну, выпили. Через пару дней Мамонтов ушел на РТР. Сейчас он в ранге замминистра: нашел себя человек.

Или — по случаю дня рождения Киселева выпиваем в останкином буфете, не отходя далеко от аппаратных. Поздравили Женю, пожелали здоровья; всё происходит более или менее частным образом, без официоза. Вдруг просит тишины наш главный редактор, г-н Кулистиков, и предлагает выпить до дна за Евгения Алексеевича, нашего лидера, который в это тяжелое время несет на себе бремя борьбы...

Что Кулистиков трусоват, мы знали; что вострит лыжи в сторону госслужбы — догадывались, но его самого — кто тянул за язык?

В общем, с недавних пор я точно знаю: кто вылижет глубже всех, тот предаст первым. И внимательно прислушиваюсь к тостам в честь руководства.

С февраля 2000-го руководство нами осуществлял Евгений Киселев.

Он давно уже был фигурой не только телевизионной. «Итоги», которыми в 94-м стартовало НТВ, принесли Жене ощущение причастности к большой политике, и я думаю, во многом неожиданно для самих себя владельцы новой телекомпании вдруг почувствовали под руками рычаги власти — власти четвертой, но отнюдь не по возможностям.

Киселев всегда увлекался контактами «наверху» — вначале от азарта, в последний год — по необходимости, пытаясь спасти телекомпанию аппаратными путями; он верил в эти пути и считал себя специалистом по кремлевским закоулкам.

Но штука в том, что в этих закоулках победить невозможно — или почти невозможно. За редчайшими исключениями, там только гибнут или ссучиваются. Как это ни наивно звучит, единственным шансом НТВ на победу была бы абсолютная моральная правота, но именно она была замызгана всевозможными «охотами на Чубайса» времен «Связьинвеста».

Журналистский коллектив стал заложником тех давних финансовых игр, и по мере понимания этого счет к Киселеву в коридорах НТВ рос. Но когда началось убийство телекомпании, для меня все это отступило на второй план — как детали, а не суть происходящего.

К тому же именно в Киселева ударило острие ситуации; по нему пришелся потом и главный удар «черного пиара». Нам было сложно в те месяцы, но ему пришлось тяжелее всех — в разы. Его топтали без всяких правил; это была сплошная уголовщина, сопровождаемая чередой победоносных предательств. И какие бы прошлые грехи не висели на Жене, зимой и весной 2001-го он заплатил за все сполна.

История выкидывает удивительные фортели, раздавая людям их роли. Иногда она делает это как будто наугад, поперек ампула. Ей так интереснее. Сибарит и игрок, Евгений Киселев неожиданно стал драматической фигурой. И — это звучит хрестоматийно, но именно в час поражения Женя проявил себя замечательно: иногда неуклюже, часто тяжеловесно, но он делал то, что должен был делать в этой ситуации приличный человек. Мы не были близкими друзьями, но за эти последние месяцы он стал мне ближе и симпатичнее.

Может быть, в порядке компенсации за друзей, которых я потерял в это время.

...Идея начать сбор подписей в защиту опальной телекомпании была вполне «шестидесятнической» — но и обстановка в стране сложилась вполне подходящая под это ретро: как не крути, конец оттепели.

НТВ, конечно, не «Новый мир», и Киселев не Твардовский, но некоторые аналогии на ум приходили. Вот только, во времена СССР уничтожение оппозиции происходило абсолютно безгласно, а в 2001-м обе стороны «пиарили» друг друга как могли.

Кремль, по понятным причинам, мог гораздо больше.

День за днем публике разъяснялось: всё происходящее вокруг НТВ — обычный имущественный спор, журналисты воюют не за свободу слова, а за свой кусок хлеба с маслом; они теряют лицо, прикрывая амбиции Киселева и деньги Гусинского... Особенно тонко и иронично по нашему поводу проходились «Известия», незадолго до того перешедшие под «Лукойл» в процессе аналогичного «спора хозяйствующих субъектов».

В высокомерной иронии побежденных в адрес тех, кто еще пытается сопротивляться, было что-то очень любопытное для психоанализа.

Все тыкали нам в лицо пресловутую «экономическую составляющую»; она была очевидной — и для людей, мало знакомых с историей вопроса, означала автоматическую правоту наших оппонентов.

Для меня — не означала.

Во-первых, деньги были только поводом, а не причиной атаки на НТВ, но главное: злосчастные кредиты «Газпрома» кредитами были только на бумаге. Газовый монополист, тридцатипроцентный акционер телекомпании, позволял себе время от времени перекладывать деньги из одного своего кармана в другой: необременительная плата за возможность информационного влияния.

Эта возможность пригодилась не только «Газпрому». Зимой 1996 года один из владельцев НТВ, Игорь Малашенко, возглавил предвыборный штаб Ельцина, чей рейтинг, под мудрым руководством Олега Сосковца, уже уходил под ноль.

Группа олигархов спасла «Деда», одновременно утопив Зюганова, как Муму. Потом были выборы — и новые кредиты «Газпрома» телекомпании НТВ.

Все участники тех событий: и олигарх Гусинский, и Кремль, чьим кошельком был «Газпром», — подчеркиваю, все знали, что эти кредиты — форма взятки за второй президентский срок Ельцина.

Заранее обговоренный откат за организацию «голосования сердцем».

В двухтысячном услуг Гусинского уже не понадобилось, НТВ оказалось в оппозиции, и как раз тут выяснилось, что кредиты надо отдавать.

Возвращение взятки через суд — ноу-хау новой российской власти.

Нас умело отделяли от народа, разговорами о Киселеве, олигархах, кредитах и процентах затуманивая ясную (и важную для общества) суть происходящего: уничтожение единственной неподконтрольной Кремлю телекомпании.

Мы отвечали, но любые наши объяснения читались как оправдания. А народ молчал. То есть, он нас, конечно, поддерживал, но — с учетом древних национальных традиций типа вырывания ноздрей. Очень тихо поддерживал.

Уже после того, как наша команда перебралась на ТВ-6, и по такому случаю ТВ-6 ликвидировали, в поликлинике меня узнала женщина, работавшая в регистратуре, и через стекло негромко сообщила:

— Мы по вам очень скучаем!

— Спасибо, — ответил я.

— Держитесь... — попросила женщина, переходя на шепот. И почти за пределом слышимости добавила:

— Не сдавайтесь...

Коллеги тоже были на нашей стороне: при встречах в останкинских коридорах многие интересовались ходом дел, говорили слова ободрения и, ободрив, шли в эфир своих уцелевших телеканалов — рассказывать об очищении страны от скверны под руководством дорогого Владимира Владимировича.

Один отчаянной смелости телеведущий, сидя за чашечкой кофе, сделал мне оттуда жест, напоминав-

ший «рот фронт». В ответ на мое предложение не стесняться и сообщить о своей поддержке НТВ публично, телеведущий улыбнулся, в точности по Искандеру, «наглой улыбкой обесчещенного».

В общем, корпоративная поддержка была на высоте.

Но люди на улицах все чаще подходили и спрашивали: скажите, куда написать, как помочь? что мы можем сделать? Подходили, в основном, женщины (мужчины у нас — преимущественно для футбола). Я отвечал: продолжайте смотреть НТВ...

Но смотреть то НТВ оставалось недолго, и это принимали даже телезрители.

Были проблемы и у наших оппонентов — всё больше морального плана. Вот, например, приезжает на съемку в Думу корреспондент РТР, только что ушедший с НТВ, а там — его вчерашние товарищи. Как себя держать, в каком тоне разговаривать? Некоторые морально нестойкие позволяли себе проявить ностальгию или даже обнаружить чувство вины... И вот на одном инструктаже в ВГТРК корреспондентам было рекомендовано общаться с нами (дословно) «как с представителями маленькой частной телекомпании».

Так они нас «позиционировали» (любимое слово О.Б.Добродеева).

Маленькая не маленькая, но, по самым скромным прикидкам, в последние месяцы конфликта не столько от имени, сколько по поручению Российской Федерации, нашим убийством, не особо отвлекаясь на другие государственные нужды, занимались около тысячи человек — «кремлевские», «лесинские», «добродеевские», «коховские», «патрушевские», «устиновские», «букаевские»...

Дивизия госчиновников. Зарплаты, машины, офисы, оргтехника, связь и спецсвязь... Всё для фронта, все для победы!

...Напрямую воззвать к общественности, уже зимой 2001-го, предложил мой добрый знакомый, по

совместительству — известный писатель; вскоре текст уже пошел по рукам. Не стану делать вид, что мы не принимали в этом участия — дело касалось нашей судьбы; к тому же люди в телекомпании собрались пишущие, каждый сам себе Тургенев, и остановить этот стилистический перфекционизм удалось не сразу.

Наконец утвердили окончательный вариант текста — и пошли за автографами. Признаться, имелось опасение, что «подписантов» будет немного: с НТВ к тому времени мало кто хотел контактировать. По меткому словцу Сорокиной, мы были как чумной барак.

Подписали, однако, многие, причем иные — весьма неожиданно для нас. Актера N, например, мы поначалу даже не собирались включать в список — знали как изрядного конформиста и полагали, что увильнет. Но кто-то сказал: надо дать человеку шанс. И N этот шанс использовал, своей подписью напомнив нам, что человек — галактика довольно малоизученная.

Наблюдать процесс подписания, отказа или рефлексий по этому поводу было невероятно интересно! Я был одним из почтовых голубей акции — и имел такую возможность. Мгновенно и прекрасно, без секунды раздумья, поставили свои имена под текстом Ахмадулина и Приставкин, Джигарханян и Чурикова... Замечательный театральный режиссер, забытый нами в спешке, звонил и сам просил включить его в список. С юношеским пылом сказал «да» Александр Володин, и еще несколько раз, словно преодолевая расстояние между Москвой и Петербургом, крикнул в трубку свое «да».

Мой учитель и кумир юношеских лет, художественный руководитель МХАТа Олег Табаков прочел текст, шумно втянул в себя воздух и, поморщившись, сказал:

— Витек, мне ж Волошин помогает с театром...

— Я пришел не к директору театра, — ответил я, — а к гражданину России Олегу Табакову.

Это был удар ниже пояса. Мой любимый Олег Павлович крикнул, подтянул к себе лист, размашисто

подписался — и, как мне показалось, с облегчением откинулся в кресле.

Список «подписантов» был впечатляющим, но, рискну сказать, не менее впечатляюще смотрелся бы список тех, кто подписывать письмо не захотел.

Мотивы отказа, как и их формы, были различны. Знаменитая актриса кричала в трубку: «Не впутывайте меня в это дело!» Она была пьяна, одинока и нуждалась в публике, поэтому я успел уже трижды попроситься, а актриса всё кричала что-то про меня и мою говняную телекомпанию. Известный актер и художник великого в прошлом театра отказал жестко и без объяснений. «Думайте обо мне что хотите», — сказал он. Что я и делаю.

Но были и другие отказы.

— Не обижайтесь, Витя, — сказал мне один замечательный музыкант. — Я не подпишу. Я ничего не боюсь, я клал на них и при советской власти... Но я только-только выбил в Кремле стипендии для студентов; если я подпишу, *они* перекроют мне кислород.

Чудесная актриса из ныне независимой балтийской страны, в прошлом звезда союзного значения, с нежным акцентом объяснила, что в случае подписания письма *они* просто не продлят ей российскую визу и сорвут гастроли.

Кто такие эти загадочные «они», разъяснил мне пожилой писатель, безукоризненный человек, гордость и совесть нации. Он просил у меня прощения и грозился встать на колени, чего я, клянусь, не перенес бы, потому что всю свою жизнь обожал его и буду обожать.

— Вы же знаете, — говорил писатель, — у меня благотворительный фонд...

Он помогал тяжело больным детям. Его лицо было пропуском в самые высокие кабинеты, его имя открывало финансирование — и какие-то крохи с федерального стола перепали несчастным...

— Витя! — сказал писатель. — Если моя фамилия появится под этим письмом, *все эти сталиевичи-нав-*

линовичи перестанут снимать трубку. Я просто ни до кого не дозвонюсь... Всё держится только на моем имени. Простите меня...

Мне не за что прощать пожилого писателя. Я люблю его по-прежнему. Впрочем, может быть, и он, и музыкант, и актриса — ошибались? Может быть, никто не стал бы сводить с ними счеты за симпатию к оппозиционной телекомпании?

Допустим.

Но почему-то все трое — мудрые, знающие жизнь люди — были твердо уверены, что первые лица города и страны, *все эти сталиевичи-павлиновичи*, не моргнув глазом, оставят всенародно любимую актрису — без гастролей, студентов — без стипендии, а тяжело больных детей — без финансирования, что в конкретном случае означало бы смерть.

Почему же лучшие люди страны были так в этом уверены?

Старый анекдот: пессимист говорит, что стакан полупустой — оптимист замечает, что он наполовину полон... И пессимист, и оптимист жили во мне в те дни, попеременно дергая за рукав и шепча: «Вот, я же тебе говорил!»

На митинг в поддержку НТВ вышло в Москве около тридцати тысяч человек. Почти столько же вышло в Санкт-Петербурге. Пессимист тут же припомнил: когда чешское правительство попыталось «наехать» на тамошнюю независимую телекомпанию, в маленькой Праге на улицы вышли не десятки, а сотни тысяч граждан. Оптимист, в ответ на разницу в цифрах, только счастливо улыбнулся — тому, что счет свободных людей в России уже идет на десятки тысяч.

Я давно не видел таких хороших лиц. Не чета персонажам моих программ, они напомнили нам, ради кого мы бьемся, прорвали душное ощущение бессмысленности, избавили от мелочных сомнений. Я задышал спокойнее и свободнее.

Двух многотысячных демонстраций в поддержку НТВ власть позволила себе просто не заметить. Обыски, суды, допросы и выемки стали буднями телекомпании. «Нас опять выемали», — печально сообщал Паша Лобков, к тому времени еще не полностью переключившийся на растительную жизнь. В коридорах НТВ царило лихорадочное веселье. Мы понимали, что доживаем последние дни.

Доживали мы их не без сумасшедшинки. Наш восьмой «энтэвэшный» этаж по-прежнему был обклеен цветными постерами, посредством которых глава «НТВ-дизайн» Семен Левин сообщал миру о своих очередных победах на международных конкурсах теледизайна. Остановиться Семен Михайлович не мог.

Последний постер, появившийся в дни, когда компания уже лежала в руинах, гласил: «Мы опять всех сделали!»

Не буду писать о том, что видели все: об открытом (пожалуй, что чересчур) собрании коллектива НТВ на передаче «Глас народа», о коридорах НТВ, ставших местом действия первого, до всякого «застеколья», реалти-шоу (мы ждали судебных приставов — и показ пустых коридоров в прямом эфире давал оглушительные рейтинги). О ночной передаче «Антропология», где это «застеколье» достигло высшей точки. Мы жили в те дни, по точному определению Лизы Листовой, «кишками наружу», и я до сих пор не могу набраться мужества, чтобы взять кассеты и посмотреть, как это было.

А было, конечно же, нервно и тоскливо.

Расколом коллектива власть занималась давно, а в марте-апреле 2001 это стало, кажется, главным видом деятельности для многих специалистов. Наступление шло по всему фронту, с кнутом и пряничками. Кому-то хватало задушевной беседы за ужином в «Пенте» или «Мариотт-отеле»; в качестве формы работы с людьми покрепче предпочтение отдавалось легкой

уголовщине. Нас шантажировали, на нас клеветали, нам давили на психику.

Нас покупали — в нищей стране деньги на это находились легко (в случае согласия на уход с НТВ долги по журналистским кредитам гасились, а зарплаты, наоборот, прибавлялись. И Центр общественных связей Генпрокуратуры почему-то забывал об этом сообщить).

Матпомощью дело не ограничивалось: для желающих выйти из игры подыскивались красивые оправдания. Помогали сформулировать красивую публичную позицию — чтобы сдача выглядела эстетично и даже мужественно.

Но помогать с формулировками нужно людям заурядным — талантливые справлялись сами.

Вечером шестого апреля в интернете появилось открытое письмо Парфенова об уходе с НТВ. Этот одинокий интеллеktуал не мог больше участвовать в нашей массовой пошлости — собраниях и демонстрациях... Фальшь ранила его тонко организованную душу. Душа была организована столь тонко, что Леонид, слова никому не говоря, с заранее написанным письмом тихо свалил в сторону редакции газеты «Коммерсантъ».

«Ухожу в никуда...» — писал он.

Благородное отчаяние этого шага просилось в рамочку. Но бывшим коллегам Леонида оценить это благородство мешало вот какое обстоятельство: весной 2001-го власти кадрили не одного Парфенова, а нас всех, буквально по алфавиту — поэтому мы хорошо знали и это «никуда», и примерные размеры премиальных за уход в него.

С нашей стороны баррикад тоже хватало благородных людей рыночного склада. Одного особо принципиального борца за свободу слова видели в один и тот же день на переговорах в трех разных телекомпаниях. Некоторые прямо с демонстраций шли к начальству — увязывать материальные вопросы с гражданской позицией.

Кричавшие громче всех линияли постыднее всех. Корреспондент на Кавказе, горячий парень с лицом супермена, в начале апреля, в прямом эфире, практически рвал на себе бронежилет в готовности умереть за право показывать неприглядную правду о войне... Он тихонечко остался на йордановском НТВ, и первый репортаж в новом качестве начал словами «Мир приходит на землю Чечни...»

Всякого мы навидались в те месяцы: «широк русский человек...» Были растерявшиеся; были запутавшиеся; были просто равнодушные... Но под огнем перейти с тонущего корабля на корабль неприятеля, и сразу на капитанский мостик — это надобно быть очень талантливым человеком.

На той прощальной «Антропологии» Парфенов сидел рядом со мной, и я физически чувствовал дрожь, которая била его. Лёне было плохо — может быть, он чувствовал, что сделал что-то не то... Неотмершие куски симпатии к нему мешали мне формулировать. По левую руку от Парфенова сидел Ашот Насибов; далее — Дибров с его казачьей прямоотой, и время от времени мы с Ашотом переглядывались, понимая, что наша главная художественная задача сегодня — ежели чего, успеть поймать «звезд» за пиджаки и не допустить мордобоя в прямом эфире.

Мы с Ашотом любим реалти-шоу, но не до такой степени.

Эфир закончился около двух ночи, а в пять утра, предварительно промаявшись пару часов в постели, я поехал в Шереметьево: в этот день у меня начинались гастроли в Германии. Я ехал, понимая, что никуда ехать не надо — конечно, русскоязычная публика простила бы меня за неявку на собственный концерт... И всё-таки не решился на отмену.

Вечером, в «Русском доме» в Берлине, я отвечал на записки из зала — и, развернув одну из них, прочел просьбу прокомментировать уход с НТВ Татьяны Митковой.

Приятно узнавать такое, стоя на сцене. Не помню, что я ответил, — но помню: второе действие того концерта провел, словно на автопилоте. Я понимал, что, как по другому поводу говорил Горбачев, процесс пошел...

С организацией у наших оппонентов дело было поставлено отменно: добивать нас бросились сразу. Наутро, от друга-эмигранта, я случайно узнал об открытом письме Коха журналистам НТВ — и о его «ау» в мой персональный адрес. И еще долго потом меня бросало в холод от мысли, что я мог просто не узнать о письме — и мое молчание было бы прочитано как знак согласия с надменной правотой этого «ау».

На следующий день, уже в Кельне, после концерта, я попросил о помощи неизвестного мне зрителя — и ночью, разбирая корючки моего почерка, он вогнал в интернет текст моего ответа Коху.

Наутро у меня зазвонил мобильный.

— Это Алик Кох, — буднично сказал голос в трубке, как будто мы были давно знакомы. — Может, встретимся?

— Приезжайте, — ответил я, разглядывая Кельнский собор.

Альфред Рейнгольдovich, конечно, — отдельная статья. Может быть, даже несколько. Не в добрый час Гусинский с Киселевым «топили» этого господина в 1997 году... Власть знала, кому поручить уничтожение НТВ.

Мы встретились с ним в день моего возвращения в Москву. «Алик» был корректен и мил, уверял в своей совершенной независимости от Кремля, сетовал на излишнюю резкость полемики (и я был вынужден извиниться за некоторые полемические срывы моих коллег). «Алик» рассказывал о своих планах в медиабизнесе, описывал светлое будущее НТВ, предлагал сотрудничество. Надо отдать ему должное — покупать меня Кох не пытался. Я был в неловком положении — меня мучило существование презумпции невиновности, и мой тонкий собеседник это понимал.

Беседа закончилась диалогом в дверях.

— Пока вы не попробуете мне поверить, вы не можете утверждать, что я вас обманываю, — подытожил Кох.

Я попытался еще раз объяснить разницу наших рисков:

— Для вас это — бизнес. А у нас нет ничего, кроме репутации.

И тут случилось удивительное. Услышав слово «репутация», «Алик» вдруг перешел на английский.

— Mother fucker! — крикнул он. — «Репутация!» Mother fucker!

Кажется, я сказал что-то не то.

Наш разговор о доверии происходил вечером одиннадцатого апреля, меньше чем за три дня до ночной операции по захвату телекомпании. Через полгода сделавшего свое дело «Алика» поперли с НТВ, дав возможность соорудить на лице выражение обманутой невинности... Случилось именно то, о чем я писал ему в том апрельском письме. Впрочем, для того, чтобы видеть такие двухходовки, каспаровым быть не обязательно.

За все сделанное Кохом в борьбе с НТВ Родина выдала ему кусок себя в его родной Ленинградской области. Разобравшись с медиа-бизнесом, многосторонний Альфред Рейнгольдович переключился на строительство торгового порта в Усть-Луге. В настоящее время он рубит окно в Европу, счастливым образом являясь совладельцем этого окна. Большие перспективы, федеральное финансирование, разумеется... И прокуратура Альфредом Рейнгольдовичем больше не интересуется.

Впрочем, конечно, нельзя утверждать, что всё это как-то связано с его ролью в развале нашей телекомпании.

Презумпцию невинности надо уважать.

С НТВ уходили теперь каждый день, коллектив распадался...

Личные неприязни, к сожалению, сыграли чересчур большую роль в том, как развивались события. Линия отрыва зачастую прошла именно по этому пунктиру; из-за этого ушли очень многие. По-человечески понимаю их вполне, и все-таки — жаль. В те дни, может быть, стоило абстрагироваться от неприязней и симпатий. Многим — особенно тем, кто помоложе — не хватило взгляда на происходящее с дистанции. Взгляда сквозь обстоятельства — на судьбу.

Можно огорчаться этому, но, ей-богу, правильной — удивиться, сколько людей сумели отделить зерна от плевел. Не только «звезды канала» — корреспонденты, редакторы, операторы, монтажеры, девочки-гримерши...

Стакан наполовину пуст, — но он наполовину полон!

Долгое время во всем, что происходило вокруг НТВ, присутствовал спортивный аспект: противоречивые решения судов, имена оставшихся в нашей команде и ушедших на РТР или к г-ну Йордану, — всё осмыслялось в категориях победы и поражения. Но в какой-то момент стало ясно, что дело уже не в судах, не в пиаре и не в том, у кого больше «звезд»... Экзистенциальность ситуации стала очевидной для всех, кто вообще имеет понятие об этой штуке. Сформулировала это однажды Светлана Сорокина: речь идет о спасении души.

Сколько раз за пятнадцать лет почти ежедневной жизни в эфире Светлана находила вот такие простые и ясные слова для того, что, мыча и запинаясь, так и не смогли высказать другие? Она сама маялась в эти месяцы ужасно, что неудивительно — не маялись в то время только законченные мерзавцы. Но когда приходила пора говорить, Света была неизменно точна и прекрасна.

У Мандельштама есть поразительное определение поэзии: сознание собственной правоты. То есть — все знают, что *так* писать нельзя, но поэт пишет *так*, и оказывается: можно! В некоторых острых для страны случаях Сорокина нарушала законы профессии, позволяя себе прямые личные оценки в эфире новостей. Это была поэзия информационного эфира: другим — не рекомендуется, Свете — можно.

Уж не помню, кто определил ее амплуа на отечественном телевидении, но определил его блистательно: Родина-мать.

Хорошо помню нравственное напряжение тех дней: не ошибиться. Не потерять лица. Суметь объясниться, найти точные и понятные слова. Не сделать чего-нибудь, отчего перестанешь быть собой, но для начала самому понять: где в этом клубке противоречий — ты? Слишком многое сплелось там — и высокие материи, и личные неприязни, и этические вопросы, и огромные деньги...

В шахматах есть понятие: игра единственными ходами. Это — про последнюю неделю жизни *того* НТВ. Мы подталкивали свое руководство к компромиссам, пытаясь взамен получить гарантии информационной независимости компании от оппонентов. Вместе с другими журналистами я — надо признать, довольно наивно — пытался «разрулить» ситуацию: встречался с разнообразными олигархами, пил кровь из Киселева (он мало похож на христианского младенца, но насчет того, что я «пил кровь» — это его собственное определение). От разговоров с Гусинским батарейка в мобильном разряжалась к часу дня, да и сам я уже нуждался в подзарядке, потому что одновременно продолжал писать «Куклы» и делать «Итого».

После очередного монтажа, в ночь на субботу 14 апреля, я приехал домой, отрубил все телефоны и лег спать. В полшестого в домофон позвонил шофер из телекомпании и сообщил, что на НТВ сменили

охрану, а на нашем восьмом этаже уже расположились Йордан и Ко — и неплохо бы мне приехать.

Я сказал: сейчас спущусь; пошел на кухню, налил воды, выпил. Хорошо помню чувство громадного облегчения в эту секунду. Кажется, я даже рассмеялся. Я вдруг понял, на какой опасной грани находился в последние дни.

Пытаясь спасти НТВ, я оказался-таки в шаге от потери репутации (*mother fucker*), но ночная хамская акция по захвату НТВ подвела черту под поисками компромисса. После этого любой контакт с новым руководством телекомпании означал человеческую самоликвидацию.

Ибо нет позора в том, что ты подвергся насилию — неприлично делать вид, что всё происходило по обоюдному согласию.

Спасибо тем, кто придумал такой способ решения вопроса: они напомнили нам, с кем мы имеем дело. Я плеснул в лицо холодной воды — и поехал смотреть, как завершается в России спор хозяйствующих субъектов.

По коридорам НТВ по-хозяйски ходил Кулиستиков — тот самый, который минувшим летом так настойчиво предлагал пить за здоровье Киселева, потом был пойман на двойной игре и выгнан с позором... Тут же были Миткова и Парфенов, вернувшийся из недельной отлучки «в никуда».

Общее ощущение было, признаться, страшноватым. Родные еще недавно люди смотрелись как клоны. Хотелось отвернуться лицом в стенку, когда они проходили мимо.

Победителям тоже было не по себе.

Володя Кара-Мурза стоял, сцепив руки за спиной — то ли чтобы не ударить никого из бывших товарищей по работе, то ли просто — чтобы обезопасить себя от их рукопожатия. (Володя — наследник княжеского рода и дальний родственник историка Ка-

рамзина; яблоки падают иногда очень далеко от яблони, но, думаю, предок Николай Михайлович был бы Володей доволен).

А насчет рукопожатий — рецепт Кара-Мурзы я взял на вооружение и всем в случае чего советую. Надо преодолевать интеллигентскую застенчивость — и руки иногда прятать. А то Кулистиков, например, ручкается как ни в чем не бывало. Еще несколько месяцев мы, время от времени, ездили в одном лифте — и этот господин с удивительным постоянством продолжал совать свою ладонь мне в живот.

Вообще, эта езда в одних лифтах — такое испытание для психики! Мы же по-прежнему работаем по соседству, волей-неволей иногда совпадаем в одной кубатуре.

Поведение в этих случаях — строго индивидуальное. Несчастный Савик Шустер, жертва футбольной страсти, боровшийся против Коха и Ко на волнах радиостанции «Свобода», пришедший на захваченное НТВ комментировать Лигу Чемпионов и после увольнения со «Свободы» перешедший к Йордану со всеми потрохами — Савик уже год не знает, куда девать глаза; разговаривать с ним теперь можно только о футболе.

Парфенов, само обаяние, балагурит, как ни в чем не бывало...

А недавно в набитый лифт, где уже стоял я, вошла Таня Миткова. А мы были друзьями — по крайней мере, симпатизировали друг другу. Обломки этого чувства лежат на глубине моего сердца и сегодня.

И вот она вошла в лифт, а там я. Мы с ней не виделись несколько месяцев после тех немыслимых апрельских дней и ночей — и столько за это время случилось всего, столько тем для разговора... Ну и поговорили.

— Вот, Витя, — сказала Миткова, — какая беда. Харрисон умер.

Я кивнул, вздохнул. Лифт едет.

— И Стечкин, — сказала Таня.

Тут лифт наконец доехал до моего этажа, и я вышел, прекратив наши совместные мучения. Бедная Таня! Бедные мы все...

В ту субботу вместе с Йорданом и Ко — или, скорее, в составе этой Ко — на НТВ пришел Добродеев. (Правду ли говорят, что преступников тянет на место преступления?)

По старой памяти он пытался играть роль отца-наставника, но ампула уже не ложились на фактуру: дети выросли, да и папа со времени ухода в чужую семью сильно изменился... Святочного диалога в пасхальную ночь не получилось.

Алим Юсупов писал заявление об уходе, и Добродеев попытался его остановить репликой, надо признать, довольно двусмысленной.

— Тебе рано уходить из профессии, — сказал он.

— Есть вещи важнее профессии, — с римским лаконизмом ответил Алим.

Не приведи Господи дожить до часа, когда ученики начинают прятать руки и смотреть сквозь тебя. Не хотел бы я быть на месте Добродеева в ту ночь.

Наутро он взял на себя ответственность за всё произошедшее с коллективом его родной телекомпании — и объявил, что уходит в отставку с поста председателя ВГТРК. Прочитав об этом в ленте новостей, я успел, по старой памяти, порадоваться за Олега — ведь неплохой же человек, совестливый... Но уже к вечеру выяснилось, что отставки не будет: президент, видите ли, ее не принял.

И Добродеев остался на ВГТРК.

Что там у них — детсад или борьба нанайских мальчиков — я, признаться, не понял, да и неважно уже. Неинтересно.

Около сорока журналистов НТВ утром того же субботнего дня написали заявления об уходе, но формулировка показалась отделу кадров чересчур эмоцио-

нальной, и увольняющихся начали поодиночке приглашать зайти на телекомпанию — под предлогом переписки заявления по форме.

Пришедших отводили к Митковой или Йордану — и начинались душеспасительные беседы с материальной подкладкой. В ряде случаев — помогло. Ну, и слава богу. На миру и смерть красна, а когда ты один — для поступка требуются соответствующие убеждения. Если их нет, то и не надо геройствовать.

Некоторые из ушедших 14 апреля свои заявления об уходе отозвали — и трудятся на НТВ до сих пор. Ни тени презрения, ни слова хулы в их адрес — каждый пишет свою биографию сам.

Жизнь — глубоко личное дело каждого.

Когда двери лифта открываются на «нашем» восьмом этаже, бывает видна аппаратная и кусок коридора — и прежде чем двери закроются, успеваешь возникнуть ощущение, что ты в щелочку заглядываешь в собственное прошлое.

НТВ — кусок моей жизни, и очень счастливый кусок. Видит бог, это была хорошая компания — в обоих смыслах слова. Нас развели, сломали, дискредитировали... Сейчас в этих коридорах нет меня, нет Володи, Ашота и Светы, но есть Петя, Оля, Таня, Леша... Я не могу желать им неудачи. Многие из моих бывших товарищей работают очень достойно, даже хорошо, и если они не считают, что есть вещи важнее профессии, их судьбу можно назвать счастливой.

...А тихий, незамеченный на митингах Александр Шашков бумагу в отделе кадров переписал, как просили — строго по форме: «Генеральному директору НТВ Йордану Б.А. от корреспондента службы информации Шашкова А.З.».

Чуть ниже — «Заявление».

И еще ниже — одно слово: «Увольте».

Куклиада

*Леониду Генриховичу Зорину,
взявшему с меня слово
об этом написать*

А начиналось всё так.

Однажды, на исходе лета 1994-го, мне позвонил Григорий Горин и сказал: «Витя! Вам, конечно, нужны деньги».

На сердце у меня растаяла медовая лепешечка. Я понял, что Григорий Израилевич заработал где-то денег и хочет их мне предложить.

— Нужны, — ответил я, хотя никто меня не спрашивал.

— Тут мне позвонили, есть одна идея... — сказал автор того самого Мюнхаузена.

Через час я был у него, а еще через минуту услышал слово «куклы».

Их уже было сделано пять штук: парочка политиков, один банкир, кремлевский пресс-секретарь и останкинский телеведущий. Почему слепили именно этих, Горин не знал; не знал он, и что с ними делать. Не знал этого, впрочем, никто — и меньше всего те, кто заказал во Франции опытную партию резиновых монстров, действуя, очевидно, по наполеоновскому принципу — «ввязаться в бой, а там посмотрим».

Мы с Гориным выпили по три чашки чая и съели по порции мороженого, но прояснению ситуации это не помогло. С имевшимся раскладом кукол делать было совершенно нечего.

«Нужна концепция, — напутствовал меня у дверей классик. — У вас молодые мозги, думайте!»

Мы встретились через несколько дней.

«Ну? — строго спросил меня Григорий Израилевич. — Придумали концепцию?»

Я виновато развел руками.

«А я придумал», — нравоучительно сказал Горин. Он неторопливо закурил трубку и с минуту задумчиво посасывал ее, бесстыже увеличивая драматургический эффект. Наконец, значительно поднял палец и изрек: «Надо взять у них аванс — и скрыться».

Эту концепцию я знал и без него.

Жена Горина Люба позвала нас к столу. Мы плотно, очень вкусно пообедали и выпили по чашечке кофе с пирожными. Идей не появилось, но я поймал себя на том, что процесс поиска начинает мне нравиться. Я спросил, не прийти ли мне завтра.

«Придумывайте концепцию», — строго ответил Горин.

Через пару дней углеводы, потребленные мной в квартире классика, добрались, видимо, до головы, потому что там, в голове, сложилось нечто, похожее на замысел.

Придумал я некий провинциальный город — Глупов не Глупов, а, ну скажем, Верхнефедератск, где почти все, как в природе, только резиновое: резиновый мэр, резиновые депутаты, обыватели... И писать себе сериал, эдакую бесконечную российскую «Санта-Барбару». Идея, естественно, требовала большого количества кукол — по числу игроков в высшей политической лиге...

Горин с видимым облегчением благословил меня («Вы придумали — вы и пишите!»), дал телефон режиссера Пичула и самоустранился.

Василий Пичул оказался малоразговорчивым, неулыбчивым брюнетом. Он с полчаса глядел, как я размахиваю руками, изображая в лицах собственную концепцию, после чего сообщил, что ничего этого, скорее всего, не будет. Каждая кукла стоит чертову уйму

долларов США, продюсер, хотя и откликается на имя Василий Григорьев — практически француз, декораций никаких, и вообще...

Мы расстались, на чем все и закончилось; по крайней мере, я думал, что закончилось. Никто не звонил, и я воспринял это как должное: количество телепрограмм, издохших в зародыше, вообще значительно превышает количество выживших.

Но «Куклы» появились под счастливой звездой.

Дело завертелось.

Были привезены и тут же украдены с «Мосфильма» куклы; по телестудии «Дикси», взявшейся снимать программу, целыми днями бродили неприкаянные сатирики, артисты-пародисты, журналисты, художники и кукловоды...

В целях промывки наших мозгов был выписан заокеанский консультант-политэконом; в минуту умственного затмения по его образу и подобию была сделана кукла с усами-пиками и бородой-лопатой.

Когда консультант перестал сотрудничать с программой, кукле была проведена операция по изменению пола, и она стала женщиной. Эта чудовищная трансвеститка играла в первых выпусках программы, наводя ужас на аудиторию.

От моей концепции к тому времени не осталось ровным счетом ничего; к образу будущих «Кукол» мы шли ощупью. Дата эфира маячила все ближе, а стиля у будущей программы не существовало. Одна злоба дня, на которой долго не протянешь. Но, как говорится, не было бы счастья...

Справедливо сказано у Шварца: человека легче всего съесть, когда он болен или в отъезде. Я уехал из Москвы на несколько дней, а вернувшись обнаружил, что «Куклы» в моих услугах не нуждаются. Мой напарник, оставшийся на хозяйстве, взялся писать все один. Что и делал, пока не разругался решительно со всеми.

Причиной конфликта стали разночтения в оценке написанного, а именно: напарнику написанное им нравилось, а остальным — нет. И он ушел, оставив в истории жанра великую фразу. Я повторяю ее всякий раз, когда написанное теперь уже мною не нравится режиссерам.

— Это очень смешно, — говорю я нравоучительно. — Очень! Вы просто не понимаете. *Я тридцать лет в юморе!*

Оставшись вообще без сценаристов, Пичул достал с полки томик Лермонтова и попросту экранизировал «Героя нашего времени». Он смонтировал лермонтовский текст, распределил роли среди наших резиновых «артистов» — и это вдруг оказалось точным, злободневным и очень смешным!

Кавказская война оказалась очень кстати. Программа, до того, по европейскому образцу, состоявшая из набора более или менее смешных сценок и реприз, вдруг обрела цельность и глубину.

Когда, не слишком убедительно извинившись, меня вторично пригласили поиграть в «Куклы», я уже знал, что со всем этим делать.

...В январе 1995-го я написал «Гамлета». Вы скажете, что «Гамлета» в 1603 году написал Шекспир — но его авторство, как выясняется, еще надо доказать! А вот насчет моего никаких сомнений быть не может.

Впоследствии я написал также «Дон Кихота», «Фауста», «Отелло», «Муму» и «Собаку Баскервилей»... В столе лежат наброски «Дон Жуана». Мне давно нравилось играть в стилизацию — лет за двадцать до «Кукол» я занимался этим с большим удовольствием, но, так сказать, для внутреннего пользования, на театральных капустниках... А тут — пригодилось.

Спасибо Пичулу. Ему хватило классического текста, а уж при переделке открывались просторы совершенно немереные.

Так вот, о «Гамлете». Не знаю, как принимали в театре Шекспира, принесшего рукопись одноимен-

ной трагедии (не застал) — но, возможно, его принимали хуже. Я был с почетом отведен в «курилку» и посажен пред ясные очи художественного руководителя программы...

Художественным руководителем программы (и вообще начальником всей этой авантюры) был тот самый «француз» Василий Григорьев, о котором мне рассказывал Пичул. Многолетнее проживание в Париже придало григорьевскому языку мягкий, едва заметный акцент, а мыслям — некоторую, как принято говорить нынче, отвязанность. Не исключено, впрочем, что последовательность была иной — и именно отвязанность привела Васю в Париж...

(Вы уже поняли, что в процессе создания программы меня окружали Васи. Для пресечения недоразумений продюсер отныне будет зваться, на французский манер, Базиль, а уж Пичул пускай остается, как есть...)

Продюсер, художественный руководитель и, как впоследствии выяснилось из титров, автор концепции, Базиль задал мне вопрос, которого не забуду по гроб жизни.

— Ты каждый раз можешь так смешно писать, — спросил Базиль, — или это получилось случайно?

— Случайно, — ответил я — и был зафрахтован до конца года на четыре программы в месяц.

До того времени я отродясь не работал «в режиме»: писалось — писал, не писалось — делал что-нибудь другое. Тем не менее, назвавшись груздем, я с энтузиазмом полез в кузов.

Кузов, как выяснилось впоследствии, мог запросто оказаться кузовком.

В общих чертах мой «творческий процесс» выглядел так.

В воскресенье, ближе к полуночи, приезжал за сценарием Пичул. Он погружался в кресло, я вкладывал ему в руки несколько листочков с текстом и с холодящим сердцем садился напротив. В тягостной ти-

шине Вася минут пять задумчиво смотрел в листки, и каждый раз черт подмывал меня заглянуть ему через плечо и удостовериться, что читает он именно то, что я написал, а не подборку некрологов.

По прошествии пяти минут Вася поднимал голову и произносил приговор. «По-моему, ерунда», — говорил он. Или: «Фантастически смешно». И то, и другое произносилось ровным печальным голосом.

После этого Вася выдавал несколько фундаментальных соображений и уезжал в ночь. А я заваривал чайник — и садился за переделку.

Утром приезжал Вася, печально просматривал переделанный сценарий, пожимал мою обессиленную руку — и укатывал в студию, где уже стояли на низком старте артисты. С этой минуты программа катилась по привычному пути — озвучание, съемки, монтаж... — а моя часть пути была пройдена, и я мог с чистой совестью ложиться спать.

Спал я вместе с моей чистой совестью минут пять, потому что через пять минут звонил телефон.

— Это Левин, — говорила трубка жизнерадостным голосом. — Какие идеи?

Левин — ныне продюсер и гендиректор телеканала ТВС, в те поры был директором маленькой студии «Дикси» и сменщиком Пичула. Если бы и он был Васей, я бы застрелился — но он, слава Богу, Саша.

В первые два года существования программы режим у нас был простой: Левин и Пичул по очереди делали программы, потом по очереди отдыхали, а отдохнув, первым делом звонили мне и интересовались, что я думаю насчет следующего сценария.

Думал я в это время об убийстве каждого, кто принесет при мне слово «куклы», о чем я и сообщал.

— Ну хорошо, — говорил Левин, — я ж не зверь, отдыхай, позвоню через час...

И жизнерадостно смеялся.

Откуда подпитывается энергией этот плотный человек, я не знаю, но выделяет он ее круглосуточно.

Если, придя в студию «Дикси», вы не заставляли Левина колотящим по клавиатуре компьютера, это значило, что он где-то снимает, или монтирует снятое, или только что уехал, или вот-вот будет. Ближе к ночи легче всего было накрыть Левина в хорошей компании (со мной) в каком-нибудь проверенном ресторане: Саша — гурман, и чем попало организм тревожить не будет.

Кстати, Лев Толстой угадал с фамилией для своего положительного героя: наш Левин — вегетарианец. Впрочем, на меня его вегетарианство не распространилось: в процессе совместной работы я был убит и съеден неоднократно.

Перед ритуальным убийством Шендеровича Левин, как правило, кричал. Текст крика был несложен — и за два года я успел выучить его наизусть.

— Это полная херня! Полная херня! Аб-со-лютная! Я не буду этого ставить! У меня одна жизнь, и я не хочу тратить ее на пол-ную хер-ню!

— Вполне кондиционный сценарий, — хладнокровно отвечал я, ища, чем бы ударить Левина по голове.

— Полная херня!

Минут за десять мне удавалось залить это пламя, и от крика Левин переходил к анализу, из которого следовало: сюжет не простроен, характеры не развиты, парадокс отсутствует, шутки старые, все банально, сценария нет, а за слово «кондиционный» я буду мучиться в сере и дыму.

Поскольку все тяжелые предметы из левинского кабинета были предусмотрительно убраны, мне оставалось только забрать сценарий и увезти его на переделку.

Переделав текст до полной неузнаваемости, я снова привозил его в «Дикси». Это гораздо лучше, говорил Левин, но все равно херня. И смеялся.

Ободренный похвалой, я переставлял местами две-три реплики и менял шрифт. Левин брал листки и

начинал трястись от хохота. Он утирал слезы, созывал в кабинет сотрудников, читал им вслух мои среднего качества репризы и предлагал всем прикоснуться ко мне, пока я живой, потому что перед ними — классик и гений, а Гоголь — это так, детский лепет...

Путь от полной херни до гениальности я проходил в среднем дня за полтора. Гоголь не Гоголь, но так быстро в русской литературе не прогрессировал еще никто...

Потом Левин вез меня ужинать.

Не знаю, что чувствовал Гоголь. Я чувствовал себя цирковой обезьяной, честно заработавшей свой банан.

За время существования программы она обросла некоторым количеством легенд, причем самые поразительные из них — чистая правда.

Например, история о том, как после программы «Восток — дело тонкое» мне позвонил парламентский корреспондент НТВ и, радостно хихикая, сообщил, что только что в Совете Федерации из-за меня произошел небольшой скандал, а именно: президент одной северокавказской республики публично объявил об оскорблении, нанесенном нашей программой его народу.

Как выяснилось, оскорбление состояло в том, что республика была изображена в виде женщины-мусульманки.

Я был ошарашен. Я, разумеется, ожидал негативную реакцию на программу, но совершенно с других директорий. Мне в голову не приходило, что мусульманка — это оскорбление, да и сейчас так не кажется. Кроме того, речь шла о стилизации на темы «Белого солнца пустыни»...

Я спросил, нельзя ли объяснить господину президенту республики содержание слова «метафора». Мой собеседник помолчал несколько секунд и ответил:

— Не советую.

Цензуры у нас не было — или почти не было. Писал я что в голову взбредет, сюжет обсуждал только с режиссером будущей программы и, время от времени, с Базилом Григорьевым. (Иногда на Базиля накатывали волны болезненного интереса к своему детищу — он мог позвонить из Парижа и битый час выяснять мельчайшие подробности очередного сюжета, после чего снова уехать на остров Мартиник и пропасть на месяц. Тогда мы писали и снимали «Куклы» без художественного руководства вообще.)

Перед самым озвучанием готовый сценарий отправлялся по факсу руководству НТВ, оттуда приходило «добро», и артисты шли в студию.

Первое пожелание насчет переделки текста мы услышали перед записью программы «Царь Султан». Была там сценка, посвященная визиту премьеры Черномырдина в Арабские Эмираты, и начиналась сценка так:

*Вот однажды из Дубай
Приезжает краснобай.*

«Краснобая» нас и попросили заменить. Принципиального протеста у меня это не вызвало: русский язык, как известно, велик, свободен и могуч, синонимов в нем — ешь не хочу, но специфика случая состояла в том, что программа была написана стихами...

Рифму к слову «Дубай» мы искали минут двадцать и все взмокли. Не верите — попробуйте сами:

*Вот однажды из Дубай
Приезжает....*

Вот то-то. Поскольку этот тупиковый путь я прошел еще при написании программы, то, пока все мучились, попробовал исхитриться и убрать «Дубай» из рифмы:

*Из Дубая как-то раз
Приезжает...*

М-да...

Кончилось дело тем, что своими лексическими проблемами мы честно поделились с начальством, поклявшись принять любую рифму, предложенную сверху. Минут десять там, наверху, по всей видимости, рифмовали, а потом позвонили и сухо разрешили: «Оставляйте «краснобая».

Что и было исполнено.

В общем, серьезных проблем у нас с НТВ не возникало — почти за шесть лет совместной работы (две с лишним сотни сценариев!) лишь один полежал пару месяцев на полке — да два других не были реализованы совсем.

Все три случая, впрочем, стоят того, чтобы о них рассказать.

На полку лег «Дон Кихот». В этой программе в феврале 95-го должна была дебютировать кукла, похожая лицом на Александра Коржакова. Телохранитель, да еще по имени Санчо, да еще, если помните, бравшийся управлять островом — мимо такого количества совпадений пройти было невозможно.

Не знаю, на что отвлеклось руководство, когда читало сценарий, но спохватилось оно, когда программа уже была готова к эфиру.

Любопытно, что регулярное появление резинового Президента России к тому времени уже не вызывало у руководства тревоги — нас только иногда просили соразмерять удар... — но при мысли о появлении на экране президентского телохранителя всех охватила крупная дрожь. Потребовалось два месяца для того, чтобы дрожь унять и выпустить программу в эфир, причем этот подвиг руководство НТВ приурочило к визиту в Москву президента США Клинтона — решив, по всей видимости, погибнуть на глазах мировой общественности.

Будущим историкам демократической России это соотношение страхов должно быть небезынтересно.

...Обращение к пушкинскому «Пиру во время чумы» произошло в ночь на третье марта 1995 года. За день до этого был убит Влад Листьев, и пускать в эфир уже снятый веселый выпуск было совершенно невозможно: так сошлось, что именно в ту неделю, вдобавок к убийству Листьева, России было впервые показано наглое от безнаказности лицо фашиста Веденкина. И все это на фоне Чечни.

Надо было успеть сделать что-то соответствующее температуре общественного гнева тех дней — или совсем убирать «Куклы» из эфира.

Стилизация «Пира...» была написана за ночь, утром в студии озвучания собрались актеры — но производство программы было категорически остановлено руководством телекомпании. Никакие резоны приняты не были.

Я никогда не руководил никем, кроме самого себя — и, наверное, не представляю тяжести этого ремесла. Понимаю, что охотников придушить НТВ было и в ту пору хоть отбавляй, и охотники эти были, как бы это мягче сказать, не последними людьми в стране, и ждали повода... И все-таки смерть той программы переживал тяжело.

«Куклы» в эфир не вышли.

Недавно я перечитал тот, пятилетней давности сценарий — и, кажется, понял, что в нем так напугало директорат НТВ. Разумеется, не конкретная сатира — были у меня (и благополучно проходили в эфир) куда более злые шутки. Напугало, я думаю, полное соответствие пушкинского текста (которому я следовал почти построчно) российским реалиям.

Меня это напугало тоже — но именно поэтому я так хотел, чтобы программу увидели миллионы россиян.

История второго запрета — история, напротив, довольно смешная. Утомленное нервной реакцией прототипов, руководство НТВ напомнило мне, что «Куклы», в общем, передача-то юмористическая — и пред-

ложило написать что-нибудь легкое. И чуть ли не само, на свою голову, предложило «Винни-Пуха».

Через неделю я «Винни-Пуха» принес. Руководство обрадовалось мне, как родному, угостило чаем с печеньем — и минут пятнадцать мы беседовали на общегуманитарные темы. Руководство легко цитировало Розанова, Достоевского и Ницше, время от времени переходя на английский. Я разомлел от интеллигентного общества.

Наконец руководство взяло сценарий и начало его читать. Но читало недолго. Уже после первой строчки оно (руководство) вдруг тоскливо и протяжно закричало. Причем — матом. Я забеспокоился и спросил, в чем дело. Оказалось, дело как раз в первой строчке — известной всей стране строчке из одноименного мультфильма: «В голове моей опилки — не беда!»

И конечно, в «Куклах» ее должен был спеть Самый-Самый Главный Персонаж — но скажите: разве можно было, фантазируя на темы «Винни-Пуха», обойтись без опилок в голове?

Я доел печенье и ретировался, проклиная Алана Милна, Бориса Заходера и всех, всех, всех....

Оба непошедших сценария впоследствии были опубликованы, но, как говаривал один персонаж у О.Генри, «песок — неважная замена овсу»...

К лету 95-го программа набирала ход, и все складывалось для нее неплохо — хорошая пресса, рейтинг и... Для настоящей славы не хватало самой малости: преследования со стороны властей.

Этот путь к славе — самый короткий и, пожалуй, самый российский. Не будем тревожить тени Полежаева и Герцена, есть примеры и ближе. Злые языки утверждают, что в начале шестидесятых молодой, но уже хорошо известный Андрей Вознесенский поил в цэдээловском буфете одного молодого гвардейского критика, подталкивая последнего к написанию рецензии на себя.

А «молодогвардеец» певца Гойи и треугольных груш не переносил и в трезвом состоянии. Долго уговаривать критика не пришлось: все, что про Вознесенского думал, он написал и отнес в «Правду». И «Правда» это, разумеется, опубликовала. И Вознесенский проснулся знаменитым уже на всю страну, потому что ежели у нас кого метелят в центральном органе — тот, считай, на пути к Нобелевской премии...

Я готов присягнуть, что не поил бывшего и.о. Генпрокурора России Алексея Ильюшенко — хотя бы на том основании, что к телу последнего меня бы близко не подпустили. Уголовное дело против программы возбуждилось само.

А впрочем, конечно, не само. Знавшие бывшего и.о. Генпрокурора утверждают, что тот моргнуть не смел без высочайшего одобрения... Конечно же, был ему звонок, да чего там! — мы знаем, из чьего кабинета звонок, и знаем достоверно.

От кого знаем, не скажем. Как писал Сталин Рузвельту, «наши информаторы — скромные люди».

...Непосредственным раздражителем для того уголовного преследования стала программа «На дне». Горьковская пьеса пришлась как нельзя более кстати после повышения минимального размера пенсий в России — до тринадцати долларов в месяц.

Ну, мы и предложили нашим резиновым руководителям пожить на эту сумму хотя бы десять минут экранного времени. Резиновые пожили в охотку, а натуральные...

Через пять дней после выхода программы было возбуждено уголовное дело, а на следующий день я узнал, что такое проснуться знаменитым. Встречи со мной вдруг захотели все — от воркутинской многотиражки до Новозеландского телевидения. Вскоре я научился произносить фразу «У меня есть для вас двадцать минут» — но разговаривал все равно до тех пор, пока не кончалась слюна. Я давал по пять-шесть ин-

тервью в день. Месяца полтора в буквальном смысле не отходил от телефона.

Признаться, происходящее мне нравилось. Человек я скромный, и долгое время считал успехом, когда меня узнавала собственная теща, а тут... После интервью для Би-Би-Си я начал с уважением разглядывать отражение в зеркале. После череды презентаций купил жилетку. Когда моим мнением относительно перестановок в правительстве начали интересоваться политологи, завел специальный батистовый платочек под цвет галстука и начал подумывать о политической карьере...

Когда позвонили из газеты «Балтимор сан» и спросили, что я думаю о деле Симпсона, зарезавшего свою жену, я почувствовал, что выхожу на мировую арену.

Вылечила меня корреспондентка родной молодежи — вылечила распространенным в России способом шоковой терапии. Позвонив, она сходу начала умолять об интервью, хотя я и не думал отказываться. Мы договорились о встрече, и я уже собирался повесить трубку, когда она сказала:

— Ой, простите, только еще один вопрос.

— Да-да, — разрешил я, давно готовый беседовать по любому вопросу мироздания.

— А вы вообще кто? — спросил корреспондентка.

— То есть? — не понял я.

— Ну, кто вы? Артист?

— А вы кому звоните? — поинтересовался я.

— Да мне редактор сказал: вот телефон Шендеровича, срочно сделай интервью в номер, — а кто вы, не сказал... А я тут, в Москве, недавно...

Сейчас я думаю: этот звонок был организован моим ангелом-хранителем — в профилактических целях...

Тем временем оказалось, что уголовное дело против «Кукол» — сугубая реальность и эту реальность нам дадут в ощущении. В один прекрасный день мне

позвонили и попросили зайти в Следственное управление Генеральной прокуратуры.

Когда меня просят, отказать я не могу.

В кабинете сидел молодежавый человек интеллигентного вида. Я подумал, что иголок под ногти не будет, и не ошибся. Молодой человек не был жесток — он был любознателен. Но, пожалуй, чересчур. Он хотел знать буквально все: кто придумал сделать куклу Первого должностного лица, и зачем он это придумал, и не имелось ли в виду оскорбить этим Первое должностное лицо, и сколько стоит изготовление одной куклы, и сколько получаем мы, и от кого, и...

Будучи внуком врага народа, я сразу встал на путь помощи следствию. Показания мои носили глубоко признательный характер, но никак не могли помочь любознательному молодому человеку затащить меня на территорию статьи 131, часть вторая, УК РФ — «Умышленное оскорбление, нанесенное в неприличной форме».

Во-первых, не было заявления со стороны как бы потерпевшего — и, по совести говоря, первым делом молодому человеку из Генпрокуратуры следовало допросить г-на Ельцина на предмет уточнения: а был ли г-н Ельцин оскорблен нашей программой?

За следователя это сделал некий тележурналист, и я своими ушами слышал, как Президент ответил: «Я этой программы не видал». После чего, впрочем, посмотрел на журналиста в точности по Ильфу — как русский царь на еврея, что, впрочем, имело под собой некоторые основания с обеих сторон.

Во-вторых, доказать *умышленность* оскорбления можно только путем чтения мыслей, а это перестало считаться доказательством со времен разгона святой инквизиции.

Что же касается «неприличности формы», то тут вообще сплошной туман. В джемпере на королевском приеме — прилично? А во фраке в бане? Но это теория. А следователь прямо спросил меня, отдаю ли я

себе отчет в том, что Президент России, одетый в обноски и с трухом на голове — это оскорбительно и неприлично. Я, разумеется, согласился — Президент России в обносках, какой ужас!..

Таким образом, по первому вопросу был достигнут стремительный консенсус, но он же оказался и последним, ибо следователь почему-то полагал, что в нашей программе таким кошмарным образом был одет именно Президент России, а мне всегда казалось, что мы имеем дело с пятью килограммами крашеной резины и кубометром поролона.

Недоразумение заходило так далеко, что следователь, упоминая в протоколе допроса персонажей программы, регулярно забывал ставить кавычки вокруг имен собственных и просто писал: Ельцин, Черномырдин... Кавычки, перед тем, как протокол подписать, аккуратно ставил я.

Весь этот театр миниатюр происходил в Следственном управлении Генпрокуратуры в Благовещенском переулке, аккуратно напротив дома, где многие годы жил Аркадий Райкин — что меня, безусловно, вдохновляло. «Думать надо... Сызбразать!»

Убедить друг друга в личной беседе нам со следователем не удалось, и однажды, в просветительских целях, я принес специально для него написанное эссе «Образ и прообраз» — и оно было приобщено к делу!

«...Прообраз — только толчок для фантазии, повод для литературной игры: реальный Нечаев — и Ставрогин («Бесы»), реальный Федор Толстой Американец — и герой репетиловского монолога, сосланный в Аляску и вернувшийся алеутом («Горе от ума»). Это правило работает даже в случае, когда образ носит имя прообраза: так, реальный Кутузов не тождествен Кутузову из «Войны и мира», а Сирано де Бержерак Ростана — реальному Сирано.

...Образ отталкивается от прообраза и, в зависимости от силы толчка, может улететь от него весьма далеко — и даже стать вовсе неузнаваемым: скажем, «Вид Толедо во время грозы» Эль Греко многие исследователи считают скрытым автопортретом испанского художника.

Образ может нравиться или не нравиться прообразу (некоторые крупные государственные деятели эпохи Возрождения узнавали себя в чертах на фресках «Страшного суда» Микеланджело), — но в цивилизованной стране *судить это* нельзя — можно лишь *судить об этом...*

Насчет цивилизованной страны — это я, конечно, хватил лишнего, но всё-таки не Иран, и уголовное дело, заведенное по поводу «оскорбления величества», издыхало на глазах. Недоразумение, однако, оставалось: многие продолжали путать персонажа с прототипом. И я был вынужден (уже не для следствия, а для почтенной публики) написать

Двойной портрет

«Чепуха совершенная делается на свете. Ведь они, хотя и похожи, совершенно разные люди! То есть, не люди, а... То есть, один из них, разумеется, человек, и большой. Впрочем, другой тоже большой. Хотя не человек.

Довольно двусмыслицы, пора объясниться. Первого героя этих заметок зовут Ельцин Борис Николаевич, и он Президент Российской Федерации. А второго зовут — Елкин. Просто Елкин, без имени-отчества. Какое может быть отчество у набитого дурака?

Президенту вышеупомянутой Федерации Ельцину Б.Н. шестьдесят шесть лет, большую часть которых он провел на руководящей работе. А Елкину два с небольшим. Он никогда никем не руководил — напротив, им ежедневно руководят кто ни попадя, откры-

вают ему рот, крутят туда-сюда головой. Строго говоря, он и моргнуть-то без посторонней помощи не может.

Ельцин Б.Н. состоит из сложных психологических комплексов и противоречивых (хотя неколебимых) убеждений. А Елкин состоит из большой резиновой головы с маленьким механизмом внутри, резиновых рук и пиджака, набитого поролоном. А убеждений у него отродясь никаких не было: что напишут, то и говорит.

Президент Ельцин успешно играет самый разнообразный политический репертуар: от человека из троллейбуса до царя-батюшки, но все-таки соблюдает в этом занятии некоторую плавность. А Елкин совершенно бесстыже меняет образы раз в неделю... Оба, впрочем, артисты от Бога.

Наконец, у Президента России Ельцина Б.Н. были проблемы с сердцем, но он их преодолел. А у Елкина от длительного употребления почернела голова, и ее уже несколько раз меняли.

А в остальном — ну да, похожи...

Елкин родился под несчастливой звездой. Ему, маленькому и ни в чем не виноватому, сразу стало доставаться за двойника. Русский без примесей, если не считать резины, привозимой из Парижа, он оказался в тяжелом японском положении — его начали колотить для снятия стресса (до двойника-то никому, кроме партнеров по корту, не добраться, а тут начали оттягиваться всей страной).

Всем хотелось разбежаться и с разбегу ударить ни в чем не повинного Елкина. А почему? А потому что, будучи большим государственным деятелем, за что Елкин в России не берется, ничего у него не выходит: только вокруг власти материальное положение и улучшается. Но Елкин по русской своей природе человек терпеливый — он год потерпит пройдоху, другой потерпит, а потом уж не обессудь! Кадровая-то политика у Елкина сильное место. Интуиции собствен-

ной сам, понимаешь, удивляется. Знает людей. Не всех, конечно — но человек десять-пятнадцать знает, как облупленных!

Ошибки свои Елкин признавать умеет. Сам войну, бывало, начнет, сам и закончит. Тыщ сто россиян разнообразных национальностей на поле брани положит, потом поглядит зорким взглядом государственным: нет ли в том Отечестве пользы? — и уж если увидит, что пользы нет, то сразу крикнет: шабаш!

И начнет сам с собою за мир бороться. Тут пощады не жди.

Суровый, но справедливый. Мудрый, но простой. Добрый, но скрывает. Вот такой он человек, наш Елкин.

А Президент Ельцин тут практически не при чем...»

Когда стало ясно, что за дураковаление нас не посадить, какой-то прокураторский спиноза придумал покопать насчет финансовых нарушений.

Как говорится: так бы сразу и сказали! За финансовые нарушения в России можно посадить вообще всех. Обрадованный принципиальностью прокуратуры, я предложил следователю не мелочиться с четвертым каналом, а сразу закрыть первый, на котором со мною расплачивались «наличманом» году еще эдак в девяностом.

Я выказал недюжинное гражданское мужество в готовности, во имя торжества закона, заложить всех, начиная с себя самого, но на мой гражданский порыв следователь отреагировал подозрительно уныло. Его интересовала только деятельность телекомпании «Дикси», производившей программу «Куклы» — зато интересовала настолько сильно, что допросы в течение года дошли аж до шоферов и уборщиц.

Следствию не удалось допросить только художественного руководителя программы Базиля Григорьева. С первыми лучами взошедшего над нами уголовного дела он улетел «в Париж по делу срочно» — и художественно руководил нами оттуда.

Тут следует заметить, что следователь, несмотря на молодость, был следователем по особо важным делам, — и на борьбу с резиновыми изделиями был переброшен с дела об убийстве Листьева. Квалификации он был нешуточной, и не приходилось сомневаться в том, что повод для закрытия телекомпании подчиненными и.о. Генпрокурора России рано или поздно будет найден.

Но тут взяли на цугундер самого и.о.

Такое мольеровское развитие сюжета показалось мне несколько нарочитым.

Прокуратуру произошедшее тоже застало врасплох. Сначала сменился следователь. Потом о нас попросту «забыли», но дело, однако ж, закрывать не стали — глядишь, пригодится... Сменилось еще два Генпрокурора, прежде чем обнаружилось, что мы чисты перед законом: не то что состава — события преступления, оказывается, не было отродясь.

Окажись на нашем месте какие-нибудь иностранные граждане, они бы тут плотоядно воскликнули, подали бы в суд на возмещение всяческих ущербов и хорошенько подразорили родимую прокуратуру. Но мы, внуки врагов народа, только прослезились от прижизненной реабилитации.

Нам, безусловно, повезло. Ни о каком торжестве закона, разумеется, речи быть не могло — просто конъюнктура ненадолго повернулась к нам передом, а к г-ну Ильюшенко — задом. Такое иногда случается в переходные периоды...

Впрочем, не могу сказать, чтобы я опасался за свою судьбу слишком сильно, и вот почему. Кроме прекраснотушной веры в справедливость, было у меня еще одно тайное подкрепление...

В самый разгар уголовного преследования «Кукол» я получил письмо из-под Пензы от одной женщины. Судя по почерку, моя корреспондентка была уже немолода и писать ей в жизни приходилось нечасто.

Содержание письма поначалу поставило меня втупик: женщина писала, как хорошо жить под Пензой.

Она поведала, какой у нее просторный дом, какой рядом грибной лес и чистая речка. Потом подробно остановилась на хозяйстве: огород, куры, буренка... Дойдя до буренки, я отложил листок и перечитал адрес на конверте; я подумал — может, мне по ошибке передали письмо, адресованное в «Сельский час»... Но на конверте было написано: «в программу «Куклы».

Простой и чудесный смысл послания разъяснился в последнем предложении. обстоятельно описав все преимущества сельской жизни под Пензой, закончила женщина так: «Милый Виктор! Если что, приезжайте ко мне, *здесь вас никто не найдет!*»

Свою помощь после возбуждения уголовного дела предлагали нам лучшие адвокаты страны; я слышал слова симпатии и поддержки от частных лиц и организаций... Дипломаты нескольких стран подтверждали готовность предоставить мне, если потребуется, статус политического беженца...

Но, ей-богу, письмо из-под Пензы, от незнакомой женщины, с предложением крова, пищи и тайного убежища от властей — это то, из-за чего стоит жить в России.

Снова наступили трудовые будни. Собственно, они и не кончались — параллельно с визитами в Следственное управление мы продолжали выпускать по программе в неделю — но уголовное преследование добавляло в кровь адреналина, и в каком-то смысле работать было даже легче.

Теперь, публично оправданные властью, мы остались наедине с творческими проблемами, и это оказалось серьезным испытанием; зрительский шок, обеспечивший нашу популярность в первые месяцы, прошел — теперь надо было удерживать симпатии собственно качеством.

К тому же братья-журналисты, дружно встававшие на защиту «Кукол» от Генпрокуратуры, теперь принялись нас покусывать, причем иногда довольно

ощутимо. По вполне благородным причинам нас перехвалили, и теперь (наверное, подсознательно) возвращали разницу.

Одно обвинение в наш адрес хочу все-таки прокомментировать: во многих рецензиях, и практически одновременно, прозвучало слово «пошлость». Речь шла о программе «Кровь, пот и выборы» — прекрасной стилизации Василия Пичула под Квентина Тарантино.

До нее герои нашего кукольного театра целый год «косили» под персонажей Шекспира, Гете и Бабея... говорили то в рифму, то белым стихом, то с одесским акцентом... — и критики были довольны. А тут услышали с экрана словосочетание «вешать дерьмо на уши» — и немедленно завопили о пошлости.

А как должны были изъясняться герои Тарантино? Забавно, что некоторым докторам искусствоведения приходится объяснять примерно то же, что следователю Генпрокуратуры, пытавшемуся вменить мне в вину трюх на голове резинового «Ельцина».

Но если уж уточнять термины...

Пошлость — это когда член Политбюро позирует в храме со свечкой. Когда малообразованный дядька говорит от имени народа. Когда за дармовым балыком болтают о духовности. Когда у стен Кремля лепят мишек и рыбок а-ля рюс. Вот что — пошлость! А Лука Мудищев, разудалая вологодская частушка и «гарик» Губермана — национальное достояние, ибо талантливо, а талантливое не может быть пошлым — по определению (см. Словарь Даля, где в синонимах пошлости числятся «тривиальность, избитость, надокучливость»).

Вообще, путаница в понятиях — причина многих, иногда довольно крупных недоразумений в России. Свободу здесь до сих пор понимают как пугачевщину, жулики величают себя либералами, националисты — коммунистами, а администрация претендует на роль носителя идеалов. Впрочем, это уже другая тема...

В середине девяностых НТВ победило. Глуповатый «наезд» прокуратуры вылился в огромную и бесплатную рекламную кампанию опальной программы. «Куклы» быстро стали частью общественной жизни — и фактором жизни политической. Журналисты растолковали власть имущим, что шарж для политика — не оскорбление, а признак популярности.

Уголовное дело еще не было закрыто, а попадание в программу уже стало престижным.

Нам стали звонить и предлагать деньги на изготовление кукол — деньги гораздо большие, чем требовалось собственно для изготовления. Жесткость шуток уже никого не смущала; помнится, единственным требованием одного думского оплота нравственности было — чтобы его лысый резиновый двойник появлялся в «Куклах» не реже двух раз в месяц.

Согласитесь: человек, готовый заплатить за предстоящую пощечину — это даже не из Салтыкова-Щедрина; это — Достоевский, если вообще не Захер-Мазох!

Упоминались суммы в десятки тысяч долларов, и неоднократно, и мы даже привыкли... Это — присказка. А вот сказка, хотя — какая сказка? Чистой воды бль.

Зима 96-го. Стою я на кухне, мою посуду, рядом — ведро мусорное с горкой, тараканы по мне гуляют... В общем, идет нормальная жизнь, и вдруг — звонок, и приятный баритон сообщает мне, что представляет интересы... — и называет фамилию, буквально ничего мне не говорящую. Ну, скажем, Сидор Матрасыча Пупкина. Который хочет быть Президентом России.

Тараканы на мне насторожились. Я спросил: чем, собственно, могу быть полезен Сидору Матрасычу в его фантазиях? Баритон ответил просто: он хочет увидеть свою куклу в вашей программе. Принес Господь сумасшедшего, подумал я — и терпеливо повторил баритону то, что неоднократно говорил другим гражданам раньше: что для попадания в «Куклы» надо быть

известным всей стране, иметь узнаваемый голос, манеры, лексику — в противном случае... и т.д.

Баритон выслушал мою продолжительную лекцию и сказал: я очень уважаю ваши доводы — могу ли сообщить вам свои? Да, ответил я, проклиная бездарно пропадающее время (ведь я мог уже домыть посуду!)

— Миллион долларов США, — сказал баритон. И помолчав, уточнил: — Вам.

Тараканы на мне остолбенели. Я стоял, как ударенный пыльным мешком, причем мешком с валютой. Миллион долларов! США! Мне! В голове, как у Кисы Воробьянинова, поочередно пронеслись лакейская преданность, оранжевые, упоительно дорогие кальсоны и возможная поездка в Канны...

Но пустить Сидора Матрасыча на экран? Никому не известную физиономию, без повадок и голоса, с табличкой «Хочу быть Президентом России»?

Я стряхнул тараканов и вежливо перевел стрелку, дав баритону телефон продюсера. Предупредив заранее, что, по моему мнению и к огромному моему сожалению (размеры сожаления могу назвать в долларах), появление Сидора Матрасыча в «Куклах» очень маловероятно...

Я повесил трубку и вернулся к раковине с посудой.

А мог бы швыряться сейчас той посудой в венецианские зеркала, потому что фамилия некогда безвестного Сидора Матрасыча была — Брынцалов! И лицо у него было, и голос, и повадки, и какие повадки! Пахан-фармацевт был рожден для нашей программы, но это выяснилось только через месяц после звонка. Поезд ушел.

Человек я жадноватый, и воспоминание об ушедшем миллионе еще долго дразнило меня. Утешался мыслями о грядущих выборах двухтысячного года...

Но и в двухтысячном обошлись без меня.

Многие из тех, кого в программе не было, мечтали в нее попасть, однако некоторые из попавших,

говоря словами Зощенко, «затаили в душе некоторое хамство».

Незадолго до того, как я чуть не стал миллионером с фармацевтическим уклоном, на одной тусовке мне пришлось познакомиться с генералом Коржаковым. (Знак времени: в советскую эпоху тусовки не пересекались. Была партийная тусовка, была тусовка художественная; отдельно тусовался андеграунд... Перестройка перелопатила этот слоеный пирог. На званом вечере в начале девяностых гуляли вместе: правозащитник, генерал КГБ, поэт-концептуалист, кутюрье с мальчишками и панк с серьгой.)

Так вот, зимой 95-го я уткнулся в генерала Коржакова: он прогуливался с охраной по ресторанной зале.

Спрятаться мне было негде, и избежать знакомства не получилось: хозяин вечера попросту подвел меня к генералу, представил нас — и тут же испарился. Как потом выяснилось, и то, и другое он сделал по просьбе самого Александра Васильевича.

У генерала было ко мне дельце.

Взявши под руку, Коржаков начал выгуливать меня по периметру банкетного зала и разговаривать со мной свои незамысловатые разговоры о необходимости скорейшей любви к Президенту России Ельцину Б.Н.

Генерал пытался играть простоватого, но преданного слугу, и в этом амплуа был бы очень хорош, если бы не хитрющие глаза, с которыми он ничего поделаться не мог. На альтруиста генерал не тянул совершенно — и все-таки предположить, что через год этот лепорелло подаст на хозяина в суд, выволочет на свет грязное белье и перейдет в оппозицию, я не мог. С фантазией у меня плоховато.

Но дело было, повторяю, в декабре 1995-го, после парламентских выборов, когда рейтинг у Бориса Николаевича искала с микроскопом вся демократическая общественность, а перед Коржаковым и Ко уже маячил июнь 96-го, Зюганов-президент, казенный дом и дальняя дорога.

В редкие мгновения, когда монолог удавалось перевести в диалог, я, как мог, пытался восстановить в генеральском мозгу причинно-следственные связи и, стараясь не переходить на личности, объяснял падение президентской популярности Чечней, воровством и бездарностью, — но умудренный в высокой политике г-н Коржаков мягко разъяснил мне: Чечня и все остальное тут ни при чем, вся беда в канале НТВ, «Куклах» и лично журналистке Масюк.

Если бы не они, все у Президента было бы хорошо.

Так мы гуляли под ручку битый час. Все это время мою жену, одиноко сидевшую в уголке, странным образом пытались успокаивать окружающие: мол, не беспокойтесь, все будет хорошо... Как будто увел меня на разговор урка какой-нибудь, а не генерал безопасности.

Наконец мой визави налил два стакана водки и произнес тост за здоровье Президента России Ельцина. Я понял, что разговор выходит на коду. Генерал дал мне свою визитную карточку. Я выразил сожаление, что не могу ответить тем же (своей визитки к тому времени еще не завел), но Коржаков успокоил: надо будет — найдем. После чего — без паузы — предложил мне всякий раз, когда я соберусь пошутить что-либо о Президенте России Ельцине, звонить и консультироваться по прямому телефону, указанному в визитке.

Я представил себе проплывающий по телеэкрану титр: «Главный консультант программы — генерал-лейтенант Коржаков» — и выпитая водка пошла у меня ноздрями.

Когда галлюцинации кончились, я по мере сил тактично объяснил генералу, что писать сценарии «Кукол», одновременно звоня в Кремль за консультациями, невозможно. Объясняя это, я бережно держал на весу генеральскую карточку, которую, по счастью, не успел убрать.

Что сделали бы вы на месте моего визави? Генерал молча забрал свою визитку из моих пальцев и вернул

ее в карман пиджака. Ибо в 1995 году квадратик бумаги с золотого тиснения двуглавым орлом и фамилией «Коржаков», — это была не визитка. Это была «окончательная бумага», как сказал бы булгаковский профессор Преображенский; если не индульгенция, то уж точно — средство решения многих проблем, включая проблемы с Уголовным Кодексом.

Генерал знал цену этой картонке с орлом.

...При расставании Коржаков сказал нечто настолько туманное, что прояснять смысл сказанного я боюсь до сих пор.

— Нам ведь жить в одной стране, — напомнил он.

— Я надеюсь, — столь же туманно ответил я, на что стоявший неподалеку Пал Палыч Бородин среагировал со всей искренностью главного завхоза страны.

— А нам отсюда уезжать некуда, — сказал он, — некуда!

Помолчал и добавил:

— А здесь у нас все есть!

...В начале 96-го призрак Зюганова, въезжающего в Кремль, начал приобретать реальные очертания, и мы решили напомнить электорату, что это такое — жить под коммунистами. А то расслабились.

Наша антиутопия называлась — «Воспоминание о будущем». Действие ее происходило в России через четыре года после победы Зюганова, в двухтысячном году (тогда это было далекое будущее). Будущее, впрочем, совершенно очевидное: в Прибалтике — Псковская дивизия, в продуктовом магазине — соль, спички и томаты, изо всех репродукторов — Кобзон с песней «И Ленин такой молодой»... А резиновый Егор с резиновым Григорием трудятся, разумеется, на лесоповале. И, пиля бревно, вспоминают коллег-демократов — кто теперь где. И была в их диалоге такая опасная шутка, что, мол, Боровой с Новодворской бежали, переодевшись в женское платье...

После эфира программы прошло не больше недели, когда у меня в квартире раздался звонок.

— Господин Шендерович? — осведомился неподражаемый голос. — Это Новодворская.

Я похолодел, потому что сразу понял, о чем пойдет речь.

— Виктор, — торжественно произнесла Валерия Ильинична. — Вы нанесли мне страшное оскорбление...

Самое ужасное заключалось в том, что Новодворская была права. Шутка написалась в последний момент, и я даже не удосужился проанализировать ее: просто хмыкнул — и поставил в текст. Внутренний контролер, обязанный проверять всякую остроту на этичность, видимо, отлучился из моих мозгов в ту злосчастную минуту...

Я начал извиняться; наизвинявшись, сказал, что готов немедленно сделать это публично, письменно, там, где захочет Валерия Ильинична... Новодворская терпеливо выслушала весь этот щенячий лепет и закончила свою мысль.

— Виктор, — сказала она, — неужели вы не знаете, что в уставе нашей партии записан категорический отказ от эмиграции?

Полгода для предвыборной кампании — срок большой даже в европах. А в России за это время может произойти вообще все что угодно.

В один прекрасный день выяснилось, что предвыборный штаб Ельцина возглавляют те, кого еще вчера охрана на глаза к нему не пускала. Борис Николаевич вообще был мастер переворачивать часы, хотя поверхностным наблюдателям иногда казалось, что песок сыплется из него самого.

С появлением у руля предвыборной кампании президента телекомпании НТВ Игоря Малашенко положение «Кукол» стало довольно двусмысленным. Вышло, что мы находимся в прямом подчинении у собственного персонажа.

Впрочем, мы все понимали сами.

Понимали, что, начиная с весны 96-го, каждое очко, отнятое у Ельцина, переходит к Зюганову, а своими

руками приводить к власти Геннадия Андреевича со товарищи в наши планы не входило. Цену их социал-демократическому маскараду мы знали хорошо — не в Давосе живем.

К людям, исповедующим коммунистические идеалы, я отношусь с уважением и симпатией, замешанной на ностальгии. Коммунистом был мой дед, добровольцем пошедший на фронт и погибший под Ленинградом в ноябре сорок первого; коммунисткой была бабушка, нищенствовавшая с тремя детьми после ареста мужа.

Они верили, что мир можно в короткий срок изменить к лучшему, они были чувствительны к несправедливости. Они в жизни не взяли чужой копейки, да и своих за жизнь им перепало не особенно...

А сытые обкомовские дяди, в процессе раздела имущества условно разделившиеся на «коммунистов» и «демократов» — ничего, кроме брезгливости, у нормального человека вызвать не могут.

Но если ельцинская власть, пытаясь прикрыть программу «Куклы», стыдливо отмежевывалась от уголовного преследования, то так называемая оппозиционная пресса задолго до г-на Ильюшенко открыто сулила нам сроки за оскорбление своих святынь (Ленина и Зюганова) — и в лучших талибских традициях прямо угрожала в случае своего прихода к власти разобрататься с неверными.

А что я в этой прессе читал про самого себя!..

Самым мягким было обвинение в продажности: всякий раз, шутя про Зюганова, делал я это, разумеется, по заданию властей. При этом в соседнем абзаце «патриоты» радостно цитировали мои шутки в адрес Ельцина — и кому я продался на сей раз, не уточнялось.

Продажность оказалась наименьшим из моих недостатков, и осквернением святынь я занимался в свободное от основной работы время. А главное задание было у меня от международных сионистских орга-

низаций. Глаза на это открыл мне журнал «Молодая гвардия», из которого я узнал, что «шендеровичи правят Россией». Правят, разумеется, тайно.

Я обрадовался: теперь я знал, где и с кого смогу слупить за Россию настоящие деньги. Ибо править ею тайно — это еще куда ни шло, но — на общественных началах?..

На радостях я занялся разжиганием межнациональной розни.

За этим занятием меня застучала газета «Завтра», опубликовав фотографию из «Кукол». Это был наш персонаж, Свинья, с огромным крестом на груди — с подписью для тупых: «Куклы» Шендеровича разжигают межнациональную рознь».

...Животные наши делались вообще для другой программы — некоего «Скотного двора» вроде оруэлловского... Но программа не вышла, а куклы остались. Две из них, Козел и Свинья, пригодились в качестве собирательных образов.

Некоторых телезрителей их появление обидело. Нас спрашивали: уж не русский ли народ мы имеем в виду? Мы честно отвечали: не весь. Но многие узнавали себя и обижались. Это их право. А наше дело — точный социальный портрет, и тут все предельно ясно: Козел у нас был, по преимуществу, люмпен, а Свинья — «новый русский» (в бандитском варианте этого понятия), и золотой крест на этом животном имел такое же отношение к православию, как перстень и шестисотый «Мерседес» — то есть, не имел никакого. Предмет украшения, и только.

Но самое трогательное в этой истории — обвинение в разжигании *межнациональной* розни с предъявлением креста в качестве вешдока. Раньше мне казалось, что в христианстве несть ни эллина, ни иудея, да и сам Христос, насколько я помню, был не из славян.

Жаль, что Проханов не в курсе.

Конечно, граждане, перегретые патриотическим квасом живут в мире собственного абсурда, но сами они, увы, — сугубая реальность. И хотя читать про «Куклы» Шендеровича даже в таком контексте мне было приятно (честолобие, знаете ли!), а подельников своих я на всякий случай патриотам заложу. Мало ли как сложится — что же, одному за всех отвечать?

Первых кукол сделал для нас французский кукольник Ален Дюверн (тлетворное влияние Запада). Но всякий раз ввозить отечественные физиономии из Парижа было слишком накладно, и туда поехал на обучение наш левша — Андрей Дроздов. Все куклы, работающие в программе сегодня, — его рук дело...

От безбожной эксплуатации в совершенно нефранцузских условиях у кукол отваливаются щеки и носы, портятся внутренние механизмы, и Андрей, как папа Карло, все время строгает новых «буратин».

При этом терминология у Дроздова абсолютно килерская.

— Мне, — говорит, — вчера Лукашенко заказали.

— Ну и что? — спрашиваю.

— Заказали — сделаю.

— Когда?

— С первого раза, — говорит, — может не получится, но ты не беспокойся — через неделю будет готов...

На озвучании в дело вступали четыре лицедея, давно продавшиеся международному сионизму: Шувалов, Груздев, Стоноженко, Безруков.

Этот последний (давно пора выдать его со всеми потрохами) в первые годы «Кукол» озвучивал две трети наших персонажей.

Притворялся русским и блондином, для отвода глаз играл Есенина, но при этом — натуральная сатана! Когда, стоя рядом со мной, он без предупреждения заговорил однажды голосом Владимира Вольфовича, я отшатнулся: у Безрукова изменились глаза. Голубые и веселые в жизни, они вдруг стали тяжелыми, оловянными, и в них замаячила та самая «неизреченная

бесстыжест», о которой за век до явления Жириновского России писал Салтыков-Щедрин. Клянусь, стоять рядом в этот момент было страшновато.

На озвучании артисты все время импровизируют, а я за них отвечаю перед патриотическими силами! Давно бы убил за такие подставы, если бы восторженные почитатели программы постоянно не благодарили меня за шутки, которых я не писал.

А «упал — отжался», рожденное во время такого актерского баловства перед микрофоном, из программы сразу ушло в народный фольклор — и впоследствии стало одним из слоганов президентской кампании генерала Лебеда.

Актеры драматические — люди легкомысленные, но все познается в сравнении. Вот уж кто сущие отморозки, так это кукольники! Уважения к орудиям своего труда эти ребята не испытывают никакого. «Ты моего уroda не видел?» — «Да вон он, твой дебил, в коробке»...

За это их трудовой коллектив по десять часов в день валяется в пыльном павильоне, пытаюсь спрятаться за куклами. Рядом с их позами блекнет любая камасутра. Причем хорошо еще, если валяются артисты — в павильоне... А то, бывало, включишь компьютер и эдак влегкую пишешь: «Зима. Поле. Вьюга...» А потом десять несчастных кукольников лежат трое суток в реальном зимнем пейзаже, на полу разбитого, продуваемого насквозь автобуса.

Все, включая девушку с потрясающим именем Лилия Чекстер.

После съемок программы «Заложники», где все именно так и было, бригадир кукольников Игорь Зотов начал регулярно звонить мне в конце недели и вежливо интересоваться: где происходит действие моего нового сценария? Не принесла ли мне моя Муза снова чего-нибудь эдакого, происходящего на льдине или в Каракумах? Узнав, что съемки будут происходить в сухом и теплом месте, Зотов долго благодарил меня от имени трудящихся.

И они шли работать — по трое на куклу, по восемь дублей, пока артикуляция не совпадет с фонограммой, жест — с поворотом головы, взгляд — с жестом...

И при этом желательно, повторяю, чтобы из-за куклы не мелькнуло чье-нибудь плечо или голова. Пичул рассказывает, что за три года настолько настропалился, глядя в монитор, «ловить» эти моменты, что уже не в силах перестроиться — и когда видит на экране живых политиков, всё пытается рассмотреть: кто же там стоит за их спинами?

...В ночь на четвертое июля 96-го года власть отрекламировала просторные коробки фирмы «Хегох» — и пошла на второй срок.

Вместо самого опасного произошло самое противное, и демократия победила. Та самая демократия, про которую Бернард Шоу сказал: это лучшая гарантия того, что вами не будут управлять лучше, чем вы заслуживаете.

Теперь мы снова могли шутить, не опасаясь ничего, кроме неприятностей для самих себя.

...Как-то раз, зимой 97-го, премьер Черномырдин захотел поохотиться на медведей. Охота была немедленно организована в заповеднике на Ярославщине; премьер-реформатор прилетел к берлоге непосредственно на вертолете. Обо всем этом стало известно журналистам; в «Огоньке», а потом в других изданиях появились сообщения о премьерской охоте; программа «Времечко» даже устроила сороковины невинно убиенных медвежат...

В общем, Черномырдина, что называется, достали.

Накласть в карман любезному премьеру сподобилась и программа «Куклы». В программе «Витя и Медведь» резиновые собеседники резинового ЧВСа не давали ему покоя медвежьими ассоциациями: то бюджетники сосут лапу, то у левых сил зимняя спячка, то Большая и Малая Медведицы плохо расположены...

Программа Виктору Степановичу не понравилась настолько, что они позволили себе передать свои чувства руководству телекомпании. Мы, разумеется, были довольны, ибо к тому времени уже два года считали высочайший гнев лучшей похвалой программе. Но всё это оказалось только завязкой. Жизнь продлила придуманный нами сюжет.

Рассказывают вот что: через несколько дней на заседании правительства, проходившем, как положено, под председательством многострадального ЧВСа, выступал главный таможенник страны г-н Круглов. И вот, рассказывая о трудностях таможенной службы, чиновник позволил себе на голову метафору: мол, есть еще у нас медвежьи углы...

Тут Виктор Степанович рывкнул на таможенника так, что тот чуть язык не проглотил.

— Сядь! Все! Хватит!

Тот попытался объясниться: мол, про медвежьи углы — это он в порядке самокритики...

— Сядь на место! — крикнул реформатор.

И еще, говорят, минуту в страшной тишине переключивал с места на место бумаги, не мог продолжать заседание.

Бедный главный таможенник, кажется, так и не понял, чем провинился перед руководством.

Закончу, однако, также на самокритике: ведь готовясь писать ту программу, я выписал в столбец все, что смог вспомнить на косолапую тему. Мне казалось, я ничего не забыл...

Но судьба приберегла «медвежьи углы» — для отдельной репризы в зале заседаний правительства.

Почти никому из прототипов не нравился свой портрет — все, от Гайдара до Зюганова, совершенно искренне считали себя симпатичнее, мужественнее, умнее, обаятельнее одноименного персонажа...

Пожалуй, только генералу Лебедю наше зеркало пришлось по вкусу — причем настолько, что он начал

корректировать свой образ в сторону черного абсурда, дабы окончательно соответствовать страшноватому обаянию нашего Терминатора Ивановича.

Хотя, надо признать, что при личной встрече с собственной куклой (а такое случалось) прототипы оттаивали — волшебная сила искусства!.. Особенно впечатляюще повел себя все тот же Виктор Степанович, когда в его резиденцию привезли резинового двойника.

Отхохотавшись, ЧВС несколько раз принимался говорить что-то судьбоносное, но не выдерживал и начинал хохотать снова. Как ребенок, он теребил своего двойника за рукав, спрашивал у него: «Ты чего мордастый такой?»...

Потом, впрочем, признался: похож.

— А что это, — спрашивают меня, — там в титрах не ваша фамилия?

Спрашивают до сих пор, хотя со времени ухода с НТВ я (не вполне по своей воле) сменил несколько телекомпаний.

Программа «Куклы» продолжает выходить в эфир, но, мне кажется, уже можно подвести некоторые итоги.

Когда летом 94-го мы придумывали первые, довольно примитивные сюжеты для нескольких случайно изготовленных кукол, нами двигало любопытство и, не в последнюю очередь, желание подмолотить денег.

Когда зимой 95-го началась война в Чечне, проведя кровавую черту между народом и властью, — в наших эзерсисах появился нравственный смысл.

В месяцы уголовного преследования работа была одновременно долгом и счастьем. Волей случая мы оказались на острие общественной жизни; может быть, я покажусь высокопарным, но мы знали, что говорим нечто, чего не имеют возможности высказать миллионы людей.

Это было лучшее время программы «Куклы», и одно из самых счастливых в моей жизни. Я знал, зачем живу.

Потом, как-то незаметно, мы стали признанной и демонстративно ласкаемой программой; привычным

субботним блюдом; частью пейзажа. К этому оказалось трудно привыкнуть. Мы снимали программу за программой и могли бы благополучно состариться за этим занятием. Это уже был бы вопрос заработка, а не судьбы.

Но в моем случае — именно судьба и распорядилась по иному...

Мне и моим товарищам повезло: мы приложили руку к новому и веселому делу. Было лестно попадать в рейтинги и получать престижные премии, но дорожке всего этого — слова, приватно сказанные мне одним известным шестидесятником. Он сказал: кажется, вы несколько расширили российские представления о свободе.

Дай-то Бог.

Что же до известности, которую принесли нам «Куклы» — известность вещь приятная... до известной степени. Недавно при выходе из кафе меня настиг и крепко схватил за рукав неизвестный мне молодой человек. Он радостно ткнул меня в плечо узловатым пальцем и прокричал:

— Вы — Шендерович!

Я кивнул, обреченно улыбнулся и приготовился слушать комплименты. Все это, как выяснилось, я сделал совершенно напрасно: немедленно по опознанию молодой человек потерял ко мне всякий интерес и, повернувшись, крикнул приятелю, сидевшему тут же, за столом:

— Это он, я выиграл! Гони червонец!

**Ничего кроме
правды**

Льва узнают по когтям; хорошего автора — по стилю.

Авторство жизни выясняется мгновенно: диалоги, рожденные ею, не высидишь за письменным столом; эти метафоры не родятся в пробирке, эту драматургию не сконструируешь «из головы»...

Жизнь, по замечанию Бабеля, сама стремится быть пожеей на хороший рассказ.

Все нижеописанные истории произошли на самом деле — по крайней мере, так утверждают те, кто мне их рассказывал. Кое-что я видел своими глазами. Ну, может, было не совсем так, как мне рассказывали, — да и я, конечно... ну не то чтобы... а исключительно для красоты слога...

В общем, чистая правда!

Осень 1989 года. Совхоз под Ленинградом; устный выпуск журнала «Крокодил». Перед выступлением — знакомство с жизнью коров. Огромное, на полторы тыщи голов, коровье гетто, жуткая вонь, тоскливое мычание...

Экскурсию ведет парторг совхоза — сыплет словами, цифрами удоев... А содержание коров у нас, говорит, беспривязное.

Тут, глядя сверху на обтянутые кожей скелетины, я неосторожно спрашиваю: а как их кормят? Есть ли какие-то нормы питания? И как оно вообще организовано?

А парторг мне застенчиво так отвечает:

— Там есть корова-лидер.
— То есть? — не понял я.
— Ну-у... — Парторг помедлил, не зная, как еще объяснить, и наконец решился... — Она всех от кормушки отталкивает и жрет сама.

С тех пор я знаю, что такое лидер.

Летом 91-го года я с семьей отдыхал под Ригой, в тихом местечке Пабажи. Восстав однажды ото сна часу эдак в одиннадцатом, я спустился к кастелянше, взял у нее ключи от более просторного номера, освободившегося накануне, и начал перетаскивать вещи.

Новый номер окнами выходил на море. За окнами раскачивались под солнцем сосны. Я весело волок сумки по коридору, вполуха слушая бухтение диктора из радиоточки.

«Всемерно укреплять колхозное движение...» — говорил диктор.

Находясь еще в полупроснувшемся состоянии, раздражился я на этот пассаж, надо сказать, довольно вяло: какое колхозное движение, подумал я, пятый год перестройки, что они там, с ума сошли...

Перетащив вещи, я снова спустился к кастелянше — доплатить за улучшение своих жилищных условий. Кастелянша, пожилая строгая латышка, аккуратно заполнив квитанцию, дошла до даты и вздохнула:

— Девятнадцатое августа... Какой плохой день.

— Почему плохой? — радостно поинтересовался я.

Кастелянша внимательно посмотрела, проверяя, не придуриваюсь ли.

— Вы радио не слушаете? — спросила она наконец.

— Нет, — чистосердечно ответил я.

— У нас переворот, — сказала кастелянша.

— У вас? — уточнил я. Я уже перенес вещи в свой новый номер и даже оплатил его, но проснуться еще не успел. Я подумал: может, Рубикс сместил Горбунова...

— У вас? — спросил я.

Кастелянша холодно на меня посмотрела и ответила:

— У вас.

Так произошло отделение Прибалтики от Советского Союза.

20 августа 1991 года, когда чаша весов колебалась, и неясно было, чья возьмет — в Чите, под аккомпанемент радиостанции, ведущей прямой эфир с улиц ночной Москвы, один мой приятель сцепился с подполковником КГБ. Тот, разумеется, был за ГКЧП. Упершись друг в друга лбами, они до полной хрипоты проспорили на чьей-то кухне целый день, поминутно прерываясь на последние новости.

В Москве стреляли. Развязки не было, и они снова упирались друг в друга лбами.

Наконец спор иссяк по причине полной непоколебимости сторон, и, уходя, подполковник сказал... О, как он сказал!

Он сказал: «Запомните! Если победят ваши — этого разговора не было!»

И, подумав, добавил: «Если победят наши — вы ответите за свои слова!»

Почетный караул от Мавзолея убрали не сразу, и 25 августа 1992 года я своими глазами видел чудо: улыбку на губах кремлевского курсанта при исполнении. То есть, он еще стоял у мумии навытяжку, но уже улыбался — и это означало настоящий конец эпохи.

Жизнь, как муравей, проточила свои ходы в замшелом дереве — падение этой трухи было вопросом времени.

У Алешковского герой совершает половой акт непосредственно на трудовом красном знамени. Чувства, которые автор испытывал к советской власти и ее символам, я к моменту прочтения романа разделял

полностью, но все-таки, по молодости лет, метафора показалась мне грубоватой...

Я еще не знал, какие метафоры сочиняет жизнь.

...В начале восьмидесятых один студент нанялся ночным сторожем в музей Николая Островского в Москве. Работа не бей лежачего (чуть ли не в прямом смысле), семьдесят целковых, внизу — ресторан ВТО... Но этой халявой не удовлетворившись, студент подрабатывал еще, в частности, и тем, что сдавал кровать Николая Островского проституткам с Тверской — по трешке за час.

Ту самую кровать, на которой было написано про жизнь, дающуюся человеку один раз.

Спустя много лет я рассказал эту историю Юзу, и классик признал, что в споре метафор победила жизнь.

Программа «Время», конец 1994-го. На экране — выпадающая из самолетного нутра бомба. Бомба разрывается на несколько кусков, те — еще и еще... Внизу встает на дыбы земля, столбы огня...

Сущий ад.

Всё это комментирует приятный баритон за кадром. Вот какое замечательное оружие производит НПО «Базальт», говорит баритон, и нет ему аналогов в мире, и все хотят его купить: и Ирак, и Саудовская Аравия. Огромный интерес в Латинской Америке... Но — разрыв хозяйственных связей, невыплаты, инфляция... В результате: такое хорошее оружие лежит на складах, и склады взрываются...

Последняя фраза репортажа стоит того, чтобы привести ее дословно. «И в итоге, — сказал комментатор, — получается: *ни себе, ни людям!*»

Я подался к экрану в приступе жуткой профессиональной ревности. Какая тонкая, какая убийственная ирония! Кто этот Салтыков-Щедрин, как фамилия? Через несколько секунд я понял, что могу расслабиться. Комментатор не шутил.

Московская Олимпиада 1980-го. День, Лужники, предварительные соревнования молотобойцев. По молодости лет бездельничаю на трибуне и наблюдаю, как на арене мучаются здоровущие дядьки — человек десять-пятнадцать.

Каждому из них надо швырнуть этот самый молот за семьдесят два метра, чтобы выйти в завтрашний финал. И вот они по очереди входят в круг, и долго раскачиваются, и раскрутившись, с дикими криками мечут это железо, и пока оно летит, страшно орут ему вслед, чтобы оно испугалось и летело как можно дальше.

А оно никак.

То есть хоть чуток, а до метки не долетит.

Это мучение продолжается почти час, когда наконец огромный мохнатый турок забрасывает молот на пару сантиметров за черту. О, счастье! Он в финале! Турок прыгает, продолжая кричать, но уже от торжества.

В это время из-под трибуны, где я сижу, выходит усатый нечесаный мужик со спортивной сумкой в руке. И бредет в сектор для метания, где уже полчаса исходят калориями эти олимпийские надежды.

С третьей попытки подвиг турка повторяет поляк — в экстазе он даже совершает кружок почета вокруг сектора, аплодируя себе поднятыми над головой руками. Усатый тем временем садится на скамеечку и начинает перевязывать шнурки. Среди окружающих его энтузиастов молотометания он смотрится человеком, который крепко спал, никому не мешал, а его растолкали, одели и велели идти на работу, которую он видел в гробу.

Какой-то заморский бедолага срывает последнюю попытку, в отчаянии хватается за голову и долго колотит огромной рукой по загородке, а потом валится на колени и в сильнейшей скорби утыкается головой з покрытие.

Мужик, шнуровавший кроссовки, поднимается, снимает «олимпийку» и берет молот. Той же ленивой

походочкой он входит в круг, останавливается в центре, секунду стоит так — и начинает задумчиво раскачивать молот, наливаясь каким-то новым содержанием. Раскачка переходит в медленное вращение, и вдруг что-то случается. Человек в круге оказывается как бы в центре смерча, и этот смерч — он сам!

Через секунду из этого смертоубийственного вихря вылетает снаряд, и летит, и перелетев за линию квалификации, летит еще, и падает за флажком олимпийского рекорда. Выслушав рев стадиона и патристический захлеб диктора, усатый мужик выходит из круга и, окончательно потеряв интерес к происходящему, берет свою сумку и бредет обратно в раздевалку.

Это был рекордсмен мира в метании молота Юрий Седых.

Он ушел, а в секторе продолжились соревнования на уровне сдачи норм ГТО, сопровождаемые экстазами, заламыванием рук и кругами почета.

Аристотель предупреждал задолго до Московской Олимпиады: комическое — в несоответствии...

Восемьдесят первый год, Забайкальский ордена Ленина Военный Округ. Я служу уже несколько месяцев; в живых меня можно числить лишь условно.

И вот однажды возвращаюсь из наряда в казарму — и слышу за спиной знакомый женский голос. Оборачиваюсь: «деды» сидят перед телевизором, а в телевизоре красивая молодая женщина в вечернем платье не из этого века говорит что-то совершенно родным голосом.

Только через несколько секунд я понимаю, что красавица в телевизоре — это Лена Майорова, вместе с которой я учился в студии Олега Табакова.

— Ой! — сказал я. — Ленка!

«Деды» обернулись. Я стоял, не в силах отвести глаз от телевизора. Лена и Марк Прудкин играли «Дядюшкин сон» Достоевского. А я последние полгода провел в ротном сортире, где чистил бритвой писсуары. Ее

голос был дошедшим ко мне через космос сигналом из родной полузабытой цивилизации...

— Обурел, солдат? — поинтересовался кто-то из старослужащих. — Какая Ленка?

— Майорова, — ткнув пальцем в сторону телевизора, объяснил я. Я не мог отойти от телевизора. Это был глоток из кислородной маски.

«Деды» посмотрели в экран.

«Я прошу вас, князь!» — низким, прекрасным голосом сказала Елена...

— Ты что, ее знаешь? — спросил наконец один из старослужащих.

— Да, — ответил я. — Учились вместе.

«Деды» еще раз посмотрели на женщину на экране — и на меня.

— П...ишь, — сопоставив увиденное, заключил самый наблюдательный из «дедов».

— Честное слово! — поклялся я.

— Как ее фамилия? — прищурился «дед».

— Майорова, — сказал я.

— Майорова? — уточнил «дед».

— Да.

— Свободен, солдат, — сказал «дед». — Ушел от телевизора!

Справка для женщин и невоеннообязанных: приказы в армии отдаются в прошедшем времени. «Ушел от телевизора!» Не выполнить такой приказ невозможно, ибо в воображении командира ты уже ушел, а несоответствие реальности с командирским воображением карается жестоко.

И я ушел от телевизора и, спрятавшись за колонну, в тоске слушал родной голос Лены... Первая часть телеспектакля закончилась, по экрану поплыли титры: «Зина — Елена Майорова»...

— Солдат! — диким голосом крикнул «дед». — Ко мне!

Я подбежал и встал столбиком возле табуреток. Старослужащие смотрели на меня со смесью изумления и восторга.

— Ты что, вправду ее знаешь? — спросил наконец самый главный в роте «дед».

— Да, — сказал я. — Учились вместе.

— Ты — с ней?

— Да.

Диалог уходил на четвертый круг. Поверить в этот сюжет до конца они не могли. Впрочем, после полугодя чистки сортира я и сам верил в него не сильно.

— Красивая баба, — сказал «дед», буровя меня взглядом.

— Очень, — подтвердил я. «Деды» продолжали испытующе рассматривать меня, и прошло еще полминуты, прежде чем злой чечен Ваха Курбанов родил вопрос, все это время, как выясняется, томивший старослужащих.

— Ты ее трахал?

— Нет, — честно признался я.

Тяжелый вздох разочарования прокатился по казарме, и дембельский состав тут же потерял ко мне всякий интерес. С таким идиотом, как я, разговаривать было не о чем.

— Иди, солдат, — сказал самый главный «дед». — Иди, служи.

В восемьдесят восьмом году я работал во МХАТе. Звучит нагло, но, тем не менее, факт: пластические номера в одном тамошнем спектакле — моих рук дело. Особого следа в театральном искусстве ни я, ни этот спектакль не оставили, но — какие воспоминания!

Главную мужскую роль играл ныне покойный Петр Иванович Щербаков. И по замыслу режиссера должен был он танцевать с народной артисткой Гуляевой некое танго, которое я, собственно, и ставил. Придумал я совсем простенький рисунок, но добиться его чистого выполнения от двух народных артистов не мог, хоть убей! Во-первых, Петр Иванович был не Барышников, и Нина Ивановна тоже не Семеняка, но это полбеда. Терпенье и труд, как говорится...

Опытным путем я выяснил, что если с двумя народными артистами «пройти» танго три раза подряд, то на четвертый они начинают попадать в нужную долю, и проблема, таким образом, заключалась в том, чтобы этот четвертый раз приходился на спектакль.

Но именно этого добиться было совершенно невозможно.

На мой трудовой энтузиазм народные артисты реагировали добродушно, однако на репетицию перед прогоном приходил я один. А день сдачи спектакля приближался. Я начинал вибрировать.

После очередной такой репетиции, видя мое состояние, добрый Петр Иванович подошел ко мне сам.

— Маэстро, — сказал он, — ты не волнуйся. Мы же артисты. На сдаче все сделаем... Вот увидишь.

Отчасти слово свое Щербаков сдержал: я увидел. К сожалению, не я один.

— Маэстро, — сказал Щербаков. — Ты, главное, не волнуйся. На премьере мы тебя не подведем.

— Давайте пройдем хоть пару раз! — взмолился я. Щербаков приобнял меня за плечи.

— Маэстро, все будет замечательно. Мы же артисты!

Они действительно были артисты, и к премьере резко прибавили, но к танцу это не относилось. Я понял, что — не судьба.

Время от времени я еще приходил на спектакли — и после поклонов являлся Петру Ивановичу за кулисами. Я чувствовал себя тенью отца Гамлета; различие заключалось в том, что я ничего не говорил, а только тоскливо смотрел.

При крупном телосложении Щербаков был тонким человеком.

— Знаешь что, маэстро! — сказал он мне на пятый раз. — Ты не приходи. Когда тебя нет, мы танцуем замечательно. Зал аплодирует, честное слово! А когда я знаю, что ты смотришь, я волнуюсь, — сказал народный артист и лауреат всего что можно безвестному ассистенту по пластике. — Не приходи!

И я перестал приходить. Но через пару месяцев все ж таки тихой сапой проскользнул в зал ближе к девяти часам вечера, как раз к своему номеру. Никто из артистов не знал, что я смотрю спектакль, и чистота эксперимента была обеспечена. Я знал, что чудес не бывает, но по мере приближения к танго сердце забилось учащеннее. Когда на сцене заиграл патефон, я подумал: а вдруг?..

Народный артист Щербаков и народная артистка Гуляева станцевали, что бог послал, умело миновали мой пластический рисунок — и устремились к финалу. Откланявшись после спектакля, Петр Иванович вышел за кулисы и увидел меня...

— Маэстро! — воскликнул он и развел руками. — Ты! Черт возьми! А я чувствую: что-то мне сегодня мешает!

Однажды, когда советская власть в стране еще была, а еда уже кончилась, я со своим юмором поехал по совхозам. Вместе со мной, иллюстрируя известный постулат насчет горы и Магомета, тронулись в путь еще десять человек нуждающихся: за пару-тройку концертов для тружеников села нам обещали по несколько десятков яиц, по три курицы и залейся молока.

Деньгами осенью 90-го можно было заинтересовать только нумизматов.

Среди фокусников, дрессировщиков и прочих мастеров искрометной шутки поехала по совхозам известная народная певица с двумя подручными баянистами. Ее патриотический номер завершал нашу целомудренную программу.

«Гляжу в озера синие...» — тянула певица, протягивая к народу белые рученьки ладошками вверх. Потом одну переворачивала ладошкой вниз и проводила ею направо, бесстыже любуясь воображаемыми просторами: «В полях ромашки рву...»

Отпев, она кланялась поясным поклоном, уходила за кулисы, снимала кокошник, вылезала из сара-

фана — и, отоварившись, мы ехали за следующими курицами.

Ехали в РАФике по классическому бездорожью — и певица, вся в коже, замше и драгметаллах, только что со своими кокошниками и баянистами вернувшаяся из Германии, в такт колдобинам повторяла:

— У, блядская страна!

Баянисты, побрякивая на ухабах, пили баночный «Хольстейн».

В следующем совхозе певица нацепляла кокошник, протягивала руки в воображаемые просторы — и все начиналось сначала:

— Зову тебя Россиею...

И через полчаса, на очередной рытвине:

— У, блядская страна!

Из-за совпадения ритмики это звучало как неспетый вариант куплета.

Драма на Ладожском озере. Несмотря на предупреждение, почти тысяча рыбаков вышли на лед. Лыдина откололась, шестеро погибли, людей снимали ночью вертолетами...

Рассказ об этом спасенного — в прямом эфире ОРТ. Он полночи лежал на льдине, а рядом с ним лежал его десятилетний сын, льдина таяла, и человек ждал — погибнет он вместе с собственным ребенком, или их успеют спасти...

Успели.

В конце программы ведущий спрашивает:

— Ну что, еще пойдете на рыбалку на Ладогу?

И человек отвечает:

— Обязательно!

На одной из демонстраций нашей т.н. оппозиции я увидел замечательный лозунг. Выглядел он так: огромными буквами, черным по белому — «Жида погубили Россию!» И внизу подпись: Ф.М.Достоевский.

Не знаю, писал ли такое Федор Михайлович — чтобы родить эту сентенцию, Достоевским быть не обязательно. Но предположим, писал — и что?

А вот что: из всего Достоевского (30 томов) они выбрали и выучили наизусть именно эти три слова! Берусь проэкзаменовать весь этот ходячий скотопрогоньевск — никто не отличит Алеши от Ивана... Но насчет жидов — это до них дошло! Один раскопал, принес в горсти братьям по крови, намалевали, пошли по Тверской с Достоевским на знамени!

Тут задумаешься.

Мир огромен; мир гения огромен бесконечно. Вопрос лишь в том, что из этого космоса человек отбирает себе, для своей жизни. Можно унаследовать от Достоевского антисемитизм. От Мусоргского — алкоголизм, от Тулуз-Лотрека — сифилис... Вольному воля.

Наблюдение одного моего зоркого приятеля: чуть ли не главная народная песня (про Стеньку Разина и княжну) содержит признаки нескольких особо тяжелых преступлений.

Ментальность, однако...

У меня в квартире ремонт. Работают двое мастеров, приглашенных по объявлениям независимо друг от друга. Дима стругает плинтусы, Миша кладет плитку в ванной. Я сижу в комнате и стучу на компьютере всякую всячину, имея в виду заработать на оплату их труда.

В середине дня мы прерываем наши занятия и сходимся на кухне к накрытому столу.

За обедом происходит обсуждение ряда проблем из области прикладной психологии (в этом особенно силен столяр Дима), сравнительный анализ Ветхого и Нового заветов с выявлением ряда противоречий внутри каждого из них (с цитированием по памяти в исполнении Михаила), а также краткая дискуссия, посвященная постмодернизму как последней стадии мировой культуры (здесь некоторое время солирую я).

Потом мы с Димой пьем чай, а Миша кофе — и потом расходимся по рабочим местам, очень доволь-

ные друг другом. А моя жена, все утро готовившая нам троим обед, приступает к уборке стола и мытью посуды.

А что ей остается, если она ничего не знает о постмодернизме?

Везет меня на «жигуле» некий подмосковный дядя и всю дорогу матюкается на милиционеров, которых иначе как «волками» не называет. «Волки», «волчары»...

— А давно вы за рулем? — спрашиваю.

— Двадцать пять лет кормлю этих волков!

— И что, — интересуюсь я, — за двадцать пять лет не было ни одного, который сделал бы всё по закону: квитанция, штраф, просечка?

Дядя задумался, вспоминая — и вспомнил:

— Нет, был один... Ну, козел!

Чем, собственно, полностью исчерпал тему наших отношений с родным государством.

В новейшее политическое время обком в полном составе рванул в сторону духовности. И вот — очередная пасха, Кремль, Соборная площадь; из церкви, под перезвон колоколов, выходят президент Ельцин и патриарх Алексий. И Борис Николаевич, расчувствовавшись, говорит:

— Россияне! Поздравляю вас с пасхой — и, значит, с рождением Христа!

Как говорится, чтобы два раза не вставать.

Примерно в это же благословенное время в церковь рангом поменьше, предварительно собрав вокруг себя несколько телекамер, пришел Жириновский. Пришел, решительным шагом прошел к образам, собрал в горсть пальцев (сколько Бог дал) — и начал класть на себя крест.

Путь ото лба к животу Владимир Вольфович прошел безошибочно, а дальше задумался. Стоит, жмению у пупа держит и к которому плечу ее вести — не знает, благодетель. Был бы я Господом — убил бы к чертовой матери. Но я всего лишь беспристрастный

наблюдатель роста духовности в новой России... Поэтому Жириновский жив — и благоденствует.

Впрочем, наш брат журналист тоже отличился на ниве православия. Пасхальный репортаж из Елоховского собора корреспондент НТВ закончил так:

— Христос воскрес! С места события — Иван Волонихин...

Счет на восстановление храма Христа Спасителя был открыт в Дзержинском отделении Жилсоцбанка, в Безбожном переулке... Есть еще вопросы?

Лечу из Азербайджана в Россию. В хвосте у туалета курит южный гражданин — и меланхолически стряхивает пепел на пол.

Я ему говорю:

— Мужик, не надо тут курить.

— Почему?

— Потому что, — отвечаю, — неделю назад вот так вот покурил один пассажир — и самолет сгорел.

Гражданин напрягся и уточнил:

— Баку — Москва?

Мой друг Иртеньев вернулся из путешествия по Родине и божится, что, проплывая под Вычегдой, видел пустынную пристань без малейших следов человеческого присутствия.

И на пристани этой метровыми буквами написано — «Х.. всем!»

Игорь считает, что это и есть национальная идея. Он даже предлагает скинуться и прорубить в тайге просеку соответствующего содержания, чтобы из космоса видно было.

Впрочем, есть и другие формулировки. Вот, например, диалог моей жены-путешественницы и местного мужика — в Новгороде, в кафе. Местный, вросши в стойку, среди бела рабочего дня сосредоточенно и целеустремленно пил медовуху.

Они разговорились; жена поинтересовалась, где работает ее собеседник, и собеседник ответил: «Нигде». Продолжая поход вглубь чужой ментальности, жена любопытствовала, каково это — нигде не работать, и собеседник ответил: «В кайф».

А когда моя любознательная половинка спросила, чем же он коротает время, мужик ответил без паузы:

— До обеда — вспоминаю, после обеда — мечтаю...

Лето 94-го. Еду по Москве в троллейбусе, читаю «Спорт-экспресс». Передо мной сидят два северных корейца — синие пиджаки, значки с Ким Ир Сенем... А его аккурат в это время по Пхеньяну лежачего возьят, помер он.

И вот, значит, один кореец вежливо так трогает меня за рукав и спрашивает — что бы вы думали?

— Бразилия?

Я не понял, говорю: чего?

Он повторяет:

— Бразилия? — И пальцем в мою газету тычет. А накануне как раз чемпионат мира по футболу закончился.

Я говорю: Бразилия, Бразилия! Он тогда широко улыбается и второго корейца локтем в бок: мол, что я говорил! И они начинают оживленно лопотать про футбол.

Вместо чтоб скорбеть.

Кажется, идеи чучхе в опасности.

Тунис, отель «Коломбо», весна 96-го. Музыкант, играющий в баре мимо нот, узнав, что я из России, радостно сообщил, что про Россию знает. Вот что он знает про Россию (дословно, с загибанием пальцев):

— Ленин, then... Сталин... then (вспоминаая) Тоцкий? Потоцкий? (стуча ребром ладони по голове) killed in America... (подтверждая мою версию), yes, Троцкий! Then — Хрущев... then — Брежнев... then — another (Андропов с Черненко, слипшись под фантастическим именем Эназэр, ухнули в небытие), then — Гор-

бачев, and now — Ельцин (музыкант постучал себя по сердцу) — капут (музыкант сочувственно развел руками), водка, водка...

Я остолбенел. Такого краткого курса ни слышать, ни читать мне еще не приходилось. К счастью, музыкант ошибался насчет капута, но в остальном — какая точность и какой лаконизм!

Декабрь 96-го, первый инфаркт Ельцина. Мы наблюдали этот процесс честными глазами президентской пресс-службы: у президента ОРЗ, он четвертую неделю в реанимации, и ему с каждым днем все лучше. А рукопожатие крепчает вообще не по дням, а по часам.

И вот — ближние подступы к ЦКБ, зимняя ночь, жуткая холодрыга с пронзительным ветром впридачу. К Наине Иосифовне, выходящей из больничных дверей, бросается стайка насмерть промерзших журналистов:

— Наина Иосифовна, как Борис Николаевич?

И она, в порыве искренней материнской жалости, восклицает:

— Ребятки, что ж вы стоите тут, мерзнете? Идите домой, завтра в газетах все прочтете!

1999 год. Звонок из одной редакции.

— Скоро первое февраля — день рождения Бориса Ельцина. Что бы вы хотели ему пожелать через нашу газету? — А в голосе ехидство провокаторское.

— Здравья, — отвечаю.

— А еще?

— Просто здравья.

— И больше ничего не хотите сказать?

— Нет.

— Ну-у... — разочарованно тянет голос в трубке, — это редактор не напечатает...

Надо было, чтобы я схамил.

У них подзаголовок: «газета московской интеллигенции».

Санкт-Петербург, 1997 год. Поздний вечер. На улице Салтыкова-Щедрина стоит пьяненькая тетушка в возрасте между «ягодка опять» и среднепенсионным.

— Мужчина, — говорит она мне, — ну куда вы торопитесь?

— В гостиницу, — отвечаю, — а что?

— Зачем же в гостиницу, — говорит ночная бабушка и улыбается мне довольно интимно. Несколько ошарашенный (ибо на проститутку она похожа, как я на Марлона Брандо), интересуюсь: что же она может мне предложить взамен? И бабушка с готовностью выкладывает свой нехитрый прејскурант. Сауна, несколько ее товаров на выбор... Видимо, на моем лице отразился сыновний ужас, потому что женщина, смутившись, сказала (дословно):

— Мужчина, вы не подумайте чего, мы приличные домохозяйки... *Просто у нас сейчас период оплаты счетов!*

Спустя несколько лет после эмиграции, Ян Левинзон, бывший капитан команды «Одесских джентльменов», приехал в Москву и поселился в одноименной гостинице. И едет, значит, Левинзон в лифте, а вместе с ним едут два мужика со значками на лацканах — избранники народа. Один избранник смотрит Яну в лицо, смотрит и наконец спрашивает:

— Простите, вы на утреннем заседании были?

А вы лицо Яна представляете... Такой фракции еще нет. Ян, честный человек, отвечает:

— На утреннем заседании я не был.

Депутат уточняет:

— А на вечернее — пойдете?

Ян говорит:

— Даже не подумаю.

Они едут еще несколько секунд, и первый депутат говорит второму:

— Вот и я говорю: не хрена нам там делать!

Шла вторая неделя кризиса 1998 года. Доллар летал где-то между двадцатью и тридцатью, наличности в стране не было, лекарств тоже, наверху искали крайних и симулировали мозговой штурм.

Костистый мужчина, подвозивший меня до работы, крыл ветви власти последними матюгами. За полчаса поездки не осталось ни одного сколько-нибудь заметного политика, обойденного его вниманием. Я по преимуществу молчал, наслаждаясь развернутыми оценками персоналий. Завершив обсуждение вопроса «кто виноват?», перешли на «что делать?»

Он так и спросил.

Сначала я подумал, что вопрос носит риторический характер, но водитель ждал ответа. А чернышевский из меня никакой: понятия не имею, что делать. Но вопрос был задан и, помучившись, я ответил что-то нехитрое в том смысле, что кризис кризисом, а делать мы должны свое дело, каждый свое, а там уж как получится. Как говорится, по специальности.

— А что, — сказал водитель, — я могу по специальности...

И как-то нехорошо задумался. Надолго.

— А вы кто по специальности? — решил я наконец.

И мужчина ответил:

— Артиллерист.

Кажется, я навел человека на мысль.

Картинка с выставки, рассказ моего приятеля-бизнесмена.

В один прекрасный день сотрудник его фирмы исчез вместе с кассой — 70 тысяч долларов. В милиции даже не стали делать вид, что собираются кого бы то ни было ловить. Сказали: ищи сам, нам не до того (что можно считать проявлением как искренности, так и особого цинизма).

Через знакомых бизнесмен вышел на офицера ФСБ, и тот, войдя в ситуацию, пообещал свести его

с бандитами, заведующими в этом районе Москвы организованной преступностью. За отдельные деньги пацаны взялись помочь бизнесмену в его борьбе с преступностью неорганизованной.

Офицер слово сдержал, и встреча состоялась. Бизнесмена ознакомили с расценкой работы (50% от «вынутой» суммы), и он с расценкой согласился. А что ему оставалось?

Пацаны обещали через какое-то время перезвонить — и перезвонили. И сообщили моему приятелю три вещи: первое — что найти беглеца не смогли, второе — что больше заниматься этим не намерены, других дел по горло; и наконец, третье — что он должен им три штуки баксов.

— За что? — спросил бизнесмен.

На том конце провода подумали несколько секунд и ответили:

— За знакомство.

Бизнесмен подумал, что это такая шутка, но через неделю ему позвонил тот самый бандитский связной (по совместительству сотрудник ФСБ) и передал, что «обстановка накаляется» и «ребята ждут бабок».

Теперь бизнесмен прячется на конспиративной квартире, а обиженные пацаны ищут его со своими паяльниками и корешами из ФСБ.

А власти удивляются, почему мы не платим налоги.

Осень 1999 года; лечу на концерт в Петербург. В бизнес-классе тусуется большая компания государственных мужей во главе с вице-спикером Чилингаровым. Лету до Питера час с небольшим, но коньяк в «бизнесе» наливают бесплатно, и к посадке государственные мужи смотрятся уже довольно неофициально.

Через несколько часов я встречаю всю эту гоп-компанию уже в ресторане «Астория», куда меня привозят на ужин щедрые организаторы моего концерта.

В точности по Довлатову, меню в ресторанах я всегда читаю справа налево — начиная с цены. А в «Ас-

тории», надо вам сказать, цены такие, что даже ужиная за счет организаторов, я время от времени вздрагиваю.

А за соседними столами гуляют государственные мужи во главе с вице-спикером Чилингаровым. Мелькают ананасы в шампанском, льются марочные коньяки; пиджаки от версаче сняты, у рубашек от армани закатаны рукава. После показа коллекции нижнего белья (причем не самого по себе, а на девушках) часть этих девушек, еще не вполне одевшись, переселяется за столики к государственным мужам...

В начале второго ночи, когда я отправляюсь в гостиницу, жизнь за соседними столиками только выходит на расчетный уровень.

Спустя часов семь, продрав глаза в своем номере, я плещу в лицо воды — и по дурной профессиональной привычке включаю телевизор, чтобы, не дай бог, не пропустить какую-нибудь новость. И щелкая пультом, дощелкиваюсь до петербургского канала, а там...

Там — в прямом эфире — транслируется учредительный съезд движения «Отечество — Вся Россия». Таврический дворец. На трибуне стоит губернатор Яковлев, а в президиуме, среди прочих, сидит вице-спикер Чилингаров и пьет воду. И вокруг него сидят люди из вчерашнего бизнес-класса, все с серыми лицами — и тоже пьют воду.

И губернатор Яковлев говорит (дословно): настало, говорит, время, когда в российскую политику должны прийти ответственные силы!

А ответственные силы, сидя в президиуме, не могут даже кивнуть головой на эти судьбоносные слова, а только пьют воду. Лица у всех тяжелые, мрачные. Ясно, что эти люди всю ночь накануне съезда не спали, потому что думали о России...

Боль за Россию и тяжелое похмелье дают на лице примерно один и тот же результат — вот ведь что интересно!

Предвыборная реклама ОВР. Имперский кабинет, двухтумбовый стол красного дерева, гардины с кистями... Короче, в кадре — бюджет небольшого города. А за столом сидит Евгений Максимович Примаков. И первые его слова — такие: народ в нищете...

Это крутилось несколько месяцев. Потом я узнал, что снимал рекламу мой давнишний товарищ по программе «Куклы», кинорежиссер Василий Пичул.

Я и раньше знал, что у Васи отменное чувство юмора.

Во время своей предвыборной проповеди в программе «Глас народа» (16 декабря 1999 года) на словах «прикрывать срамные места» Никита Сергеевич Михалков прикрыл ладонью сердце.

Да здравствует Фрейд.

В послевыборную ночь в компанию, где уже расслаблялся я, зашел ведущий ОРТ Паша Шеремет. А ОРТ, надо сказать, в те месяцы сильно отличилось по части агитации, пропаганды и черного пиара — в чем Паша в меру таланта участвовал. И вот он подсаживается ко мне, кладет руку на мой локоть и дружелюбно говорит: «Как хорошо, что закончился этот цинизм!»

Судьбоносный день 31 декабря 1999, репортаж по РТР про отставку Ельцина: «Исполняющему обязанности президента Владимиру Путину был передан ядерный чемоданчик» (в кадре — Ельцин, Путин и офицер с чемоданчиком). И — далее: «Также исполняющему обязанности были переданы и другие атрибуты власти».

В кадре — Ельцин, Путин и Алексей Второй...

Январь 2002-го, только что ликвидировали ТВ-6. Дочь Валентина, девица пятнадцати лет, за завтраком интересуется новостями с фронтов войны за сво-

боду слова. А я едва продрал глаза, мне лениво шевелить языком, сижу, отмалчиваюсь.

Минут через десять Валентина интересуется:

— У тебя что, тоже лицензию на вещание отобрали?

Летом 2000-го главный раввин России Адольф Шаевич прогневал администрацию нового президента поддержкой Гусинского. Ему позвонили и предложили подать заявление об уходе.

Адольф Соломонович, говорят, спросил только: «Кому?»

«Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь...»

Рассказ покойного ныне артиста Мамуки Кикалейшвили о его встрече с Шеварднадзе (тот привечал деятелей культуры, противостоявших Гамсахурдия):

— Когда Шеварднадзе сказал мне: «Ты не представляешь, как я тебя люблю», — у меня внутри все похолодело. А когда он сказал: «Мамука, ты мне дороже родного сына», — я понял, что надо уносить ноги.

Мы разговаривали с Мамукой в Москве...

Зима 2000 года, горные районы Чечни. Командующий федеральными войсками генерал Казанцев угощает журналистов и в застолье добродушно шутит:

— С вас всех, — говорит, — надо снять по паре дней отпуска. Смотрите, куда я вас привел! Красота! Горы, сосны, воздух... Швейцария!

— Лишь бы швейцарцы не вернулись, — мрачно заметил телеоператор N.

Апрель 2001-го. Прилетаю на концерт в Казань.

У выхода на трап оказываюсь первым. Дверь открывается — и я остолбеневаю: прямо на летном поле стоит джип, вокруг люди с цветами, а у самого трапа расположились три девушки в национальных татарских платьях с чем-то типа хлеба-соли на руках.

Предчувствие публичного позора накрывает с головой. Микроавтобус с надписью VIP с летного поля меня возил, с джипом и охраной меня однажды встречали, но хлеб-соль!..

Я понимаю, что скандал вокруг НТВ поднял мое имя на нездешнюю высоту — и, набравши в грудь побольше воздуха, ступаю на трап. Краем глаза вижу размазанные по иллюминаторам лица зрителей. Ужас. Иду, глядя под ноги, чтобы как можно позже встретиться глазами со встречающими; иду, судорожно соображая, что делать с этим хлебом, с этой солью, с этими девушками... Что во что макать?

Так ничего и не сообразив, на последней ступеньке трапа, в полном отчаянии, надеваю на лицо радостную улыбку — вот он я, ваш любимый! — и шагаю навстречу всенародной любви.

Девушки в национальных костюмах без единого слова устремляются мне за спину. Я оборачиваюсь. Толпа встречающих суетится вокруг миловидной женщины средних лет, сошедшей по трапу следом за мною. Хлеб-соль, цветы и джип — весь этот публичный позор предназначается ей.

По моим устаревшим понятиям, *так* в России можно встречать только двух женщин: Аллу Пугачеву и Валентину Матвиенко. Но тут явно какой-то третий случай, и это размывает мои представления о жизни.

Своими ногами бреду с летного поля — и двое суток живу в Казани в тяжелом раздумье. А через два дня, на обратном пути, в кресло рядом со мной садится *она!* И я понимаю, что это Господь дает мне шанс.

— Простите мое любопытство, — говорю, — но... кто вы?

Женщина виновато улыбнулась и ответила — и картина жизни встала на место, сияя новыми красками. Какая там Пугачева, какая Матвиенко?

...Федеральная налоговая инспекция.

Звонок. Застенчивый мужской голос.

— Простите, вы меня не знаете, ваш телефон дал мне Александр Володин...

Имя Володина — как пароль.

— Слушаю вас.

— Тут такая глупая ситуация, — виновато говорит трубка, и становится слышно, как там, на другом конце провода, человек переживает неловкость своего звонка. — Я в Москве, у меня украли деньги... Не хватает на билет. Я сразу, как приеду домой, верну.

Рекомендация Александра Моисеевича делает отказ невозможным.

— Разумеется!

— Буквально сто рублей...

— Ну, о чем речь!

Договариваемся о встрече. При встрече я силком впихиваю в незнакомую руку вместо ста рублей двести, умоляя взять купе, а не мучиться на плацкарте. Немолодой разночинец (тип сельского учителя) от двухсот сначала отказывается в некотором даже ужасе, но потом ужас преодолевает и деньги берет. Затем несколько раз повторяет слова благодарности и довольно сильно волнуется относительно скорости возвращения долга. Он готов послать деньги в день приезда, но нужен мой почтовый адрес.

— Отдайте Александру Моисеевичу, — говорю я, млея от собственного ума и благородства. — А я потом у него возьму.

— Да? — радуется человек. — Хорошо. Я — завтра же!

На прощанье он совершает в мою сторону несколько поясных поклонов. Я взаимным образом кланяюсь в адрес нашего общего друга, великого драматурга Володина. Действие происходит на троллейбусной остановке, и публика с интересом наблюдает за сеансом этого невыносимого человеколюбия.

Через пару недель звонит Татьяна Александровна Гердт.

— Витя! Я хочу вас предостеречь. Вам будет звонить человек от Володина, просить денег...

- Уже.
- И вы дали?
- Разумеется.
- Витя! Это жулик!

...Немолодой разночинец с лицом сельского учителя взял деньги у Олега Табакова, взял у Юрского, взял в «Современнике», взял в театре «Сатирикон», взял у вдовы Зиновия Гердта и вдовы Михаила Львовского. Ни один человек ему не отказал, и каждый норовил дать денег побольше. Отсвет володинского благородства сиял на челе тихого жулика, ослепляя окружающих.

Вот что такое — репутация.

И вот что такое — психологический расчет.

Стояли мы как-то в скверике, в тихом московском дворе — я, Вадим Жук и Юлий Малакянц (известный в Москве продюсер).

И подошел к нам мальчик с ладошкой и скорбным голосом.

Мы, конечно, понимали, что с вероятностью десять к одному у мальчика — не обстоятельства, а работа, но работал он довольно убедительно, и скорее из уважения к профессии лицедея, чем из жалости, мы выгребли из карманов мелочь и отдали ее юному дарованию.

Разговор соскочил на тему профессионального нищенства, и каждый вспомнил историю на этот счет.

Вадик рассказал о своем друге, питерском скульпторе Василии Аземше, к которому как-то подошел несчастный бомж и сказал:

— Брат! Дай на хлеб.

А Аземша как раз шел из булочной. И из авоськи у него торчал батон (или, говоря по-питерски, булка). И поняв просьбу буквально, скульптор отломил свежую горбушку и протянул ее страдающему брату.

Страдающий брат плюнул на поребрик, грязно выругался — и еще некоторое время потом грязно ругался в удаляющуюся спину доброго скульптора.

В ответ я поделился воспоминанием о Григории Горине: мы стояли с ним в тамбуре поезда Нижний Новгород—Москва, ожидая отправления, когда с аналогичной просьбой (насчет финансовой поддержки в счет человеколюбия) у ступенек возник вполне половозрелый юноша. На юноше были кроссовки «Адидас», джинсы «Ливайс» и куртка — тоже вполне кондиционного происхождения.

И Григорий Израилевич сказал:

— Юноша! Вы недостаточно плохо одеты.

Возможно, продюсер Малакянц тоже рассказал бы какую-нибудь историю на эту трехгрошовую тему, но тут Жук заметил, что на парапете чугунной ограды, возле которой мы стоим, лежит горстка десятикопеечных монеток. Происхождение этой мелочи мы поняли через пару секунд: монетки оставил мальчик, просивший у нас подаяния. Серебро взял, а медью — побрезговал.

Чтоб зря карманы не оттягивать.

— Ни фиги себе, — сказал я.

— Да, неглупо, — сказал Жук.

А продюсер Малакянц аккуратно собрал монетки и, положив себе в карман, наставительно произнес:

— Мальчик никогда не будет богатым.

Мы с Жуком, видимо, тоже.

Тихим февральским вечером щелкаю пультом на первую кнопку телевизора и слышу взволнованный монолог Никиты Михалкова.

— Это не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом, — говорит он. — Когда людей обыскивают, когда унижают их человеческое достоинство...

Я подумал: это он о Чечне, и еще успел удивиться внезапному гражданскому мужеству Никиты Сергеевича. Вот, думаю, орел. Ничего не боится. С чего бы это? Через пару секунд выяснилось, что Михалков говорит о мерах безопасности на Олимпиаде в Солт-Лейк Сити.

Все в порядке с Никитой Сергеевичем. Зря я за него волновался.

Комментатор Перетурин: «Московские динамовцы разгромили команду с Фарерских островов со счетом 1-0».

Если человек — патриот, то это надолго...

Встречает меня литератор N. и интересуется:

— Я слышал, в «Табакерке» твою пьесу ставят?

— Ставят.

— Поздравляю, — говорит. — Я тут тоже, неожиданно для себя, написал шесть пьес...

Концерт в Бостоне. После выступления стою, надписываю книжки эмигрантам: «Борису, дружески», «Льву Семеновичу, на память», «Инне, с симпатией»... Подходит дама больших достоинств, с брошью на выдающейся груди.

— Как вас зовут? — спрашиваю, готовя стило.

— Как? — говорит она. — Вы меня не помните?

В голосе дрожит нескрываемая обида. Ощущение такое, что довольно длительное время мы с ней просыпались в одной постели. Публика перестает прицениваться к моим книжкам и кучкуется поближе к диалогу.

Я холодею и внимательно всматриваюсь в лицо дамы. Вот убей меня бог, если я ее помню! Хотя где-то, кажется, видел. Но не в постели. Я, конечно, склеротик, но не до такой степени.

— Простите, — говорю, — но...

И развожу руками, изображая забывчивость гения.

— ...Как вам надписать книжку?

Жалкая попытка слинять из сюжета позорно проваливается.

— Конечно, — громко говорит дама, — где же вам меня помнить. Вы же теперь — звезда!

Немедленно покрываюсь холодным, мелким потом стыда. Моруа, блин. Встречи с незнакомкой. О гос-

поди! Эмиграция рассматривает меня с нескрываемым презрением. Припертый к стенке, с отчаяния бросаюсь в атаку: не надо, говорю, меня мучить! Если мы знакомы, напомните, где и каким образом это счастье мне привалило...

Лицо дамы складывается в печальную гримаску — и, выдержав паузу, она многозначительно произносит:
— Сургут...

И я вспоминаю.

Лет за пять до Бостона я действительно выступал в Сургуте, в доме культуры — и эта дама приходила ко мне за кулисы. Она вела там детский хоровой кружок и хотела затащить меня на это пиршество духа, но я отбоярился. Минут пять, помнится, кивал головой, соображая, как бы поскорее завершить этот культпросвет. И через пять лет:

— Как? Вы меня не помните?

...Недавно, уже в Москве, в Доме Актера, я увидел ее снова. Дама интимно беседовала с Марком Розовским, приперев его к стене. У дамы на груди была брошь в виде рояля, Марк был красен, как рак. Когда ему удалось просочиться между этим роялем и стеной — и выйти на свободу, я интимно поинтересовался:

— Что у тебя было с этой мадам?

— В первый раз ее вижу! — вскричал Розовский. — Клянусь!

Ну, зачем же оправдываться? Люди не слепые...

Популярность все-таки — хорошая вещь.

Ужинаю, например, однажды и вижу, что девушка, сидящая за соседним столиком, меня узнала — и смотрит. А хороша, надо сказать, до мурашек по спине.

Ой, думаю. Сижу, преодолеваю соблазн познакомиться, пытаюсь есть медленнее, люблюсь тайком. А она, болтая с подружкой, нет-нет, да и стрельнет глазами. А глаза!..

К концу ужина успеваю влюбиться в девушку по уши — и в таком состоянии покидаю кафе. И когда уже стою с номерком у гардероба, она настигает меня сама. Обрыв сердца. Лет ей восемнадцать, и хороша...

— Простите, — говорит, — могу я попросить у вас автограф?

Господи, думаю, солнышко, да только ли автограф? Пишу ей что-то непозволительно нежное. Она читает, прижимает листок к своей груди, о которой ничего не пишу, потому что слов всё равно нет, — и говорит:

— Господи, какая я счастливая!

Женюсь, думаю я. Вот прямо сейчас и здесь — женюсь, и меня оправдают.

— ... какая я счастливая, — говорит она. — Я ведь сегодня утром и у Укупника автограф взяла, представляете?

И я понял, что, кажется, постарел.

А недавно меня узнала дама предбальзаковского возраста и с интригой в голосе поинтересовалась:

— Ну, Виктор, что новенького?

— Да вот, — отвечаю, — третья мировая война начинается.

Это сообщение отвлекло даму не сильно.

— Ну, — сказала она, — а еще?

А еще — вот что. Подходит ко мне на улице человек, берет за руку, трясет ее, трясет, а потом говорит:

— Леонтьев! Молодец!

Ну, этот хоть обознался. А другой (который не обознался) просто схватил за рукав и сообщил:

— Виктор! Вы — совесть России.

Подумал и уточнил:

— Вы — и Хинштейн.

Искусство принадлежит народу

Причем иногда — буквально. Вместе с деятелями искусства и реквизитом.

...Говорят, это произошло во время шефского концерта артистов Большого театра — что называется, «в рабочий полдень». К Мстиславу Ростроповичу, исполнявшему концерт Дворжака, непосредственно на сцену зашел здоровенный детина из числа невольных слушателей и добром попросил:

— Уйди.

По другой версии, никто на сцену не выходил, а просто крикнули из зала:

— Лысый, кончай перепиливать ящик!

Если хоть что-то из этого правда, странно, как Мстислав Леопольдович в тот же день не эмигрировал.

А в другой рабочий полдень (не исключено, что на то же предприятие) приехал струнный квартет. На свою голову, музыканты решили побаловать рабочий класс одним малоизвестным произведением Вивальди, в котором итальянский композитор, ничего не знавший о рабочем полдне, предусмотрел несколько ложных финалов.

То есть, тема как бы заканчивается, а потом начинается снова.

Первый финал, случившийся очень вскоре после начала, трудящиеся восприняли с энтузиазмом — и бурно зааплодировали, полагая, что теперь их отпустят восвояси и дадут покурить или забить козла. Но после небольшой паузы музыканты начали играть снова.

Трудящиеся решили, что музыканты их неправильно поняли и играют «на бис», поэтому, когда вивальди закончилось вторично, похлопали гораздо тише, явно из вежливости, боясь спровоцировать дальнейший приступ музыкальности.

Но струнные завели свою пластинку опять.

На шестой раз трудящиеся поняли, что над ними издеваются. В зале начался стихийный протест. На сцену

полетели мелкие предметы — бумажки, монетки, гайки. Музыканты, съезжившись, продолжали искушать судьбу. Корректировать партитуру Вивальди им не позволяло призвание.

Но пришлось.

Не доиграв несколько проведений темы, струнный квартет упаковал свои гварнери-страдивари — и бежал с завода, избежав линчевания в последнюю минуту.

Антонио Вивальди был хороший композитор, но чувства меры в рабочий полдень не знал совершенно.

Семейное предание из начала семидесятых. Мои родители поймали такси:

— На улицу Герцена!

Таксист смилостивился, и они поехали. Через пару минут, сопоставив адрес с внешним видом пассажиров и временем посадки, таксист не спросил, а уточнил:

— В консерваторию.

— Да.

— Угу...

Проехали еще немного.

— И что там, в консерватории? — поинтересовался служитель баранки.

— Леонид Коган, — честно ответил отец.

— Скрипка, — пояснила мама.

Повисла пауза, завершившаяся грандиозным афоризмом советского гегемона.

— Работать никто не хочет, все хотят на скрипочках играть!

Игорь Иртеньев рассказывал об одном из первых своих выходов в народ. Прошу представить. Начало восьмидесятых, лето, воскресенье, Парк Культуры и Отдыха, посреди которого происходит то, что на профессиональном сленге называется «сборняк».

Перед эстрадой — хилыми островками — человек двадцать культурно отдыхающих. Кто пьет, кто це-

луется, кто просто загорает. Между рядами прогуливаются мамы с колясками, бегают дети...

И вот в этот незамысловатый пейзаж вошел со своей поэзией Иртеньев.

Фурора его появление, следует прямо сказать, не произвело: народ как отдыхал, так и продолжал отдыхать. И только, представьте, одна бабуля смотрит на него, улыбается и доброжелательно, ободряюще даже кивает головой...

Всякий, кто выходил на сцену, знает, как важно, чтобы в зале был хотя бы один такой зритель: чуткий, бросающий тебе спасательный круг своего внимания... Эх, да что говорить!

Благодарный Иртеньев, персонально для бабули, исполнил свои лучшие стихи — и все десять минут, что он стоял на сцене, она улыбалась ему и доброжелательно кивала головой, поддерживая поэта в его неравной борьбе с социумом.

Когда поэт ушел за кулисы, бабуля продолжала улыбаться и кивать головой. У нее была болезнь Паркинсона.

Говорят, давным-давно, чуть ли не в первую «оттепель», группа столичных (и очень известных уже тогда) писателей-сатириков поехала на «чѐс» по необъятной Родине. И дочесались они до вахтовки где-то посреди Тюмени.

Там, на этой вахтовке, и произошла встреча юмора с реальностью.

Московские гости — в штиблетах и велюре — шутили, стоя под специально сооруженным навесом, а зрители, пришедшие непосредственно от буровых, сидели в робах под проливным дождем.

Никаких чувств, кроме классовых, рыцари искрометной шутки в трудящихся не вызвали. Самые проверенные столичные репризы гасли, как спички под водой. Ситуация усугублялась национальным составом приехавших — представителей титульной нации там не имелось даже для маскировки.

Концерт, начинавшийся в вежливой тишине, закончился в атмосфере осязаемой ненависти и без единого хлопка. Подавленные столь суровым приемом, гости под дождем поплелись к своему автобусу. Заходивший в автобус последним, уже поставив ногу на ступеньку, не выдержал напряжения и пробормотал:

— Ну, мы к вам еще приедем...

— Я тебе, б..., приеду! — посулил ему в спину ближайший нефтяник.

Двери закрылись, и автобус уехал.

В семьдесят каком-то году на окраине Москвы открывался новый очаг культуры. В день открытия в опостылевший, их же руками построенный Дворец согнали на культурный досуг работяг-строителей: как по другому поводу сказал Бабель, это был их день.

Конферансье, отряженный Москонцертом на встречу с рабочим классом, подготовил несколько экспромтов.

— Какой прекрасный Дворец! — воскликнул он. — Какой замечательный Дворец построили вы, дорогие товарищи...

Виновники торжества, частично уже теплые с утра, угрюмо слушали эти соловьиные трели.

— Но меня как сатирика этот факт огорчает! — вдруг заявил конферансье.

Строители насторожились.

— Все меньше в нашей стране остается поводов для сатиры! — закончил конферансье — и улыбнулся мудро и печально.

— Пошел на ...! — крикнул ему из зала самый чуткий на фальшь строитель. — Пошел на ..., жидовская морда!

— Что вы сказали? — переспросил не ожидавший диалога конферансье. На что (в полном соответствии с просьбой) ему громко и без купюр повторили сказанное еще раз. Тут боец сатирического фронта пришел в себя.

— Пока этого негодяя не выведут из зала, — заявил он, — я отказываюсь продолжать вступительный фельетон!

Жуткая эта угроза подействовала. Гегемона взяли под микитки и поволокли прочь. Перед тем, как покинуть собрание, он, зацепившись за косяк двери, успел еще несколько раз огласить свое нетленное пожелание. Дружинники отлепили мозолистые пальцы от косяка, и мат, постепенно отдаляясь, затих в недрах Дворца Культуры.

Удовлетворенный расправой, конференсье поправил бабочку и продолжил вступительный фельетон.

— На чем мы остановились? — спросил он. — Ах да! Все меньше в нашей стране остается поводов для сатиры!

В конце восьмидесятых в пансионате «Березки» происходило Совещание (именно так — с прописной буквы) молодых советских писателей. Я там был, медпиво пил. По результатам Совещания должны были раздавать цацки: рекомендации в Союз, письма в издательства, дававшие право на прохождение рукописи при жизни автора... Приглашенные в «Березки» автоматически становились будущим советской литературы.

Но особо одаренным было невтерпеж.

Вечером третьего дня не сильно молодой писатель по фамилии, ну, скажем, Сеструхин начал агитацию среди собратьев по перу. Целью операции было скорейшее внедрение в литературу.

— Идти на полставки, — инструктировал Сеструхин, — садиться в редакции, брать отделы...

— Зачем? — спросил кто-то. В сумерках голоса звучали вполне конспиративно.

— Печататься, — лаконично отвечал Сеструхин. — Пора вытеснять сорокалетних!

Стоял летний вечер. Стрекотали кузнечики, плыла луна. Молодые писатели, скучковавшись вокруг лиде-

ра поколения, прикидывали свои возможности по вытеснению сорокалетних.

— Иначе не пробиться, — говорил Сеструхин.

Он был похож на уцененного Пестеля. Революционный пафос его речей оборачивался скучной правотой короеда. Чтобы преодолеть цензуру, предлагалось стать ее частью.

Здравая сеструхинская идея была пошловатой (как большинство здравых идей), и все-таки — за нескрываемой личной обидой выделялись забытые рукописями столы, грезилась невидимые миру слезы, вечные истины, ждущие своего часа под спудом безвременья, практически из-под глыб...

— Миша, — спросил я, — а много ли у тебя написано?

Сеструхин пошевелил губами, глядя в закатное небо, что-то перемножил в уме, и ответил:

— Тыщ на двадцать!

Сейчас он в Алабаме, работает гинекологом.

Зиновий Гердт ездил за границу с сорок девятого года, и у него накопилось там много знакомых. Был среди них и японец, славист по специальности. Этот удивительный японец говорил по-русски — то есть он думал, что говорит по-русски, а сказать ему правду в Японии было некому. Но речь не об этом.

Однажды Гердт спросил своего знакомца при встрече, чем тот сейчас занимается.

— Пишу диссертацию, — ответил японец.

Гердт поинтересовался темой, и японец с поклоном ответил:

— Ранний Блок.

Гердт сначала немного испугался, а потом спросил: кому в Японии нужен Блок, тем более ранний?

Японец немного подумал и ответил:

— Мне.

В конце шестидесятих денег в стране в обрез хватало на космос и Фиделя Кастро, а тут еще хоровое пение...

Изыскивая резервы экономии, министр культуры Фурцева с изумлением обнаружила, что под ее чутким руководством благополучно существуют целых два казачьих хора. Это очевидное излишество и было приведено на ближайшей встрече с творческим активом как пример расточительства.

— Зачем в одной стране два казачьих хора? — задала риторический вопрос товарищ министр. — Донские казаки, кубанские... Надо их объединить!

— Матушка, Екатерина Александровна! — взмолился знаменитый конферансье Смирнов-Сокольский. — Это не удалось сделать даже Деникину!

Говорят, довод подействовал.

Некий молодой человек написал фортепианный концерт и пришел с ним к Шостаковичу. Захотелось поделиться.

Вежливый гений пригласил гостя к роялю — и молодой человек начал самовыражаться. Через полчаса гость нанес роялю последний аккорд и, весь в мыле, повернулся от клавиатуры. Шостакович сидел на диване, обхватив себя руками.

Исполнителю удалось произвести на гения сильное впечатление.

— Ну как? — спросил молодой человек.

— Очень хорошо, — забормотал Шостакович, — очень...

И неожиданно уточнил:

— Гораздо лучше, чем водку пить!

Дело было в Питере, где-то в середине семидесятых.

Рассказывают, что к Александру Володину прицепился какой-то не сильно трезвый бард и начал, что называется, меряться статью.

— Вот вы, — сказал бард, — драматург. Ладно. А я, — бард загнул палец, — поэт! — Бард загнул другой палец. — Композитор, кандидат наук, гитарист, альпинист...

Когда бард загнул все, что у него было с собою, и иссяк, Володин встал и молча поклонился ему в пояс.

Много позже, уже в конце девяностых, известный телеведущий Владимир Набутов зашел в пивнушку на петроградской стороне — и увидел там Володина, заподлицо с другими стариками прилипшего к стойке со своими обязательными утренними стаграммами.

Но поприветствовать Александра Моисеевича Володя не успел, потому что узнали его самого.

— Набутов! — воскликнула продавщица. — Ой! Дайте автограф!

Тут же с аналогичной просьбой набежали из подсобки и другие.

— Девочки! — сказал благородный Володя. — Вот у кого вы должны брать автограф! — И указал на Александра Моисеевича.

— Этот? — Продавщица кинула взгляд в сторону старенького драматурга. — Да он каждый день тут ошивается!

А продавщица эта была, может быть, внучкой Тамары из володинских «Пяти вечеров» — просто не знала этого...

Дело было в пансионате.

— Чем там заканчивается «Война и мир»? — поинтересовалась у меня выпускница средней школы. Она сидела в холле, положив красивые длинные ноги на журнальный столик. В руках у нее лежал затрепанный «кирпич» толстовского романа из местной библиотеки.

В мае у девушки были выпускные экзамены, вот она и мучилась.

Я с удовольствием отметил про себя, что произвожу впечатление человека, который дочитал роман до конца — и вкратце рассказал, что там дальше.

Сообщение о предстоящем браке Н.Ростовой и П.Безухова искренне удивило выпускницу.

— Да ну, п...ишь! — сказала она.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что девушка будет поступать в юридический.

К Константину Райкину пришла журналистка из светского журнала — и спустя несколько секунд выяснилось, что она, как говорится, не в материале. То есть, совсем.

В худруке «Сатирикона» разыграла педагогическая жилка — он предложил журналистке хорошенько подготовиться к интервью, почитать прессу, посмотреть спектакли театра...

Журналистка позвонила через месяц — и доложила о завершении ликбеза. Педагогический талант Кости торжествовал. Была назначена новая встреча. Чай, диктофон на столе...

— Ну, — сказал журналистка, — первый вопрос, Константин... Простите, как вас по отчеству?

Первые годы демократии, прощальный ужин первоапрельской Юморины в Одессе. Моря спиртного, горы снеди, девушки танцуют на столах (последнее — не метафора).

К тихо выпивающим Жванецкому с Аркановым вразвалочку подваливает спонсор в «Адидасе» и, положив по полуцентнеру бицепсов на плечи классиков, интересуется:

— Шой-то вы нами брезгуете? Вы не брезгуйте; прошу к нашему столу...

Рядом, действительно, гуляют спонсоры — внучатые племянники не Бени Крика даже, а Левки Быка. Пить с ними Арканову со Жванецким хочется, как зайцу отжиматься, но мысль, что все эти ананасы в

шампанском требуют моральной отдачи, рождает понятное чувство вины.

В итоге Арканов ложится на эту амбразуру один. Спустя какое-то время, побратавшись с классиком, расчувствовавшийся хозяин жизни сообщает ему:

— Аркадий, вот — люб ты мне!

И, желая сделать гостю приятное, интересуется:

— Хочешь, я для тебя кого-нибудь замочу?

Это предложение временно отбивает дар речи даже у Арканова.

— ... Ты просто скажи, — оберегая писателя от лишних хлопот, продолжает спонсор. — Просто покажи его — и сиди, отдыхай, пей...

Тут самое время заметить, что за соседним столом, в большой компании ничего не подозревавших коллег, сидел я.

— Ну что вы, — торопливо (насколько можно представить себе торопливого Арканова) отвечал тот. — Мне тут все нравятся!

— Но если что, ты скажи! — настаивал спонсор.

Арканов пообещал сказать, в свою очередь взяв со спонсора слово до специальной просьбы никого в этом зале не мочить. Они посидели еще, и спонсор, остатком мозга ощутив, видимо, неловкость за свой искренний порыв, объяснил:

— Это потому, что люб ты мне...

И, подумав, закончил:

— Был бы не люб — совсем бы другой разговор...

Сочи, кинофестиваль «Кинотавр». В баре меня узнает девушка (в данном случае это — профессия). Смотрит на меня, смотрит — где-то видела, но где? Мучается, бедолага, минуты три, наконец спрашивает:

— Мы с вами знакомы?

Я говорю: еще нет.

— А вы в прошлом году тут были?

— Нет.

— А в Дагомысе?

Труженица пола начала перебирать места работы, но я не сознавался.

— Ну, где я вас видела? — спросила она наконец с некоторой уже обидой в голосе. Тут я мысленно расправил плечи и намекнул, предвкушая сладость узнавания:

— Ну-у... может быть, в телевизоре...

Я ждал не напрасно. Лицо девушки просветлело, и она в восторге выдохнула:

— Глоба!

Так я встретился со славой.

Главное — знать свое место.

Сообщение по радио: «Сегодня в Кунцевском районе состоится праздник. В программе: сатира, лошади и так далее...»

Виктор Шендерович
ЗДЕСЬ БЫЛО НТВ
и другие истории

Редактор
Ирина Богат

Художник
Григорий Златогоров

Верстка
Кирилл Лачугин

Фотография на обложке
Василия Дьячкова

ISBN 5-8159-0274-8



Директор издательства Ирина Евг. Богат

Издатель Захаров
Лицензия ЛР № 065779 от 1 апреля 1998 г.
121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9
(Рядом с Никитскими воротами,
отдельный вход в арке)

Тел.: 291-12-17, 258-69-10

Факс: 258-69-09

Наш сайт: www.zakharov.ru

Подписано в печать 20.09.2002. Формат 84×100 1/32.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Бумага Bulky. Усл. печ. л. 7,56.
Тираж 20 000 экз. Изд. № 274. Заказ № 507.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

КНИГИ «ЗАХАРОВА» В РОЗНИЦУ
Самый полный ассортимент и минимальные цены!

**КНИЖНАЯ ЛАВКА
ПРИ ЛИТЕРАТУРНОМ ИНСТИТУТЕ
ИМЕНИ ГОРЬКОГО**

Тверской бульвар, 25
(во дворе института налево — если зайти с бульвара,
и направо — если зайти с Большой Бронной;
метро «Пушкинская», «Тверская»)

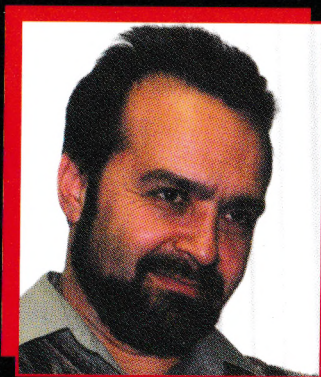
понедельник—пятница с 10.00 до 19.00
суббота с 11.00 до 17.00

тел.: 202-8608; e-mail: vn@ropnet.ru

На территории США и Канады книги
издательства «Захаров» оптом и в розницу
можно приобрести по адресу:

Petropol, Inc.
1428 Beacon Street
Brookline, MA 02446
(617)232-8820

Интернет магазин:
WWW.PETROPOL.COM



Записные книжки – сундуки с дублонами. Время от времени спускаешься в эти погреба и смотришь, перебираешь, вспоминаешь... Иногда смеешься, иногда плачешь.

История войны на НТВ закончена, но не осмыслена, по-моему.

В дворовом футболе это называется – заиграно. Знаете, когда нарушение правил было, кого-нибудь сбили или рукой подыграли, но мячик катится, скоро стемнеет, играем дальше, побежали, побежали... Мне кажется, общество ещё так и не поняло, что это было. Поэтому, как сказано у Слуцкого: давайте после драки помашем кулаками.

Это – субъективная камера. Я прекрасно отдаю себе отчет, что многое, и очень важное, осталось не увиденным мною, что есть другие точки зрения – и абсолютно не претендую на истину. Но то, что здесь написано, было. Я это слышал, я это видел, я это знаю.



ЗАХАРОВ